

Геннадий  
РЯЗАНЦЕВ-  
СЕДОГИН

г. Липецк

Илюша и доктора

Меня пропустили через приемный покой. Пахло гречневой кашей и чем-то кислым. Дети сидели по палатам, дежурная медсестра на посту под настольной лампой что-то писала. Я тихо вошел, она подняла голову. Поклонился ей и жестом показал свое намерение пройти к Илюше. Она согласно махнула рукой. Я шел почти на цыпочках до самой двери. Мне никто не встретился. Тихонько постучал. Открыла Наталия и, увидев меня, заплакала.

— Анализы плохие, лейкоциты зашкаливают. Он ничего не ест, плачет. — Наталия вытирала платком слезы, которые бежали по её впалым щекам. — Помолитесь, батюшка. Когда вы молитесь, нам становится легче. Конечно, я вас совсем, совсем замучила. Но я не знаю уже, к кому мне обращаться за помощью. Я никому не верю. Говорю врачам: «Отправьте нас в Москву», — а они сперва отвечали, что схема лечения там, в Москве, точно такая же, как и здесь. А теперь говорят, что он нетранспортабельный, «мы его не доведем». А ему всё хуже и хуже. Получается, что здесь его неправильно лечат? Но врачи не признаются.

Мы прошли к Илюше.

— Илюша, батюшка пришел полечить тебя. — Наташа встала перед кроваткой на колени и поглаживала беспомощно его обнаженные ручки.

Он не шевелился. Его бледность и сухость посиневших губок поразили меня. Казалось, что вокруг него ничего не существовало. Ни матери, которая гладила его припухшие руки, ни меня, смотревшего на него как сквозь слоду.

В палате было сумеречно. По углам от тусклого света залегли размытые тени, предметы потеряли свои очертания. Все вокруг казалось бессмысленным и ненужным.

Вдруг мальчик неожиданно всхлипнул и как будто заплакал. Но это продолжалось одно мгновение.

# Земля живых

роман  
(журнальный вариант)  
окончание



— Я рядом, с тобой, Илюша, я здесь, — шептала сквозь слёзы мать.

И он затих. Я облачился в епитрахиль с поручами, встал на колени рядом с матерью и начал молиться.

Я хотел бы быть божьим присутствием в такие минуты, чтобы животворящая сила полилась через меня, коснулась болезни и уничтожила её. Но я снова и снова задаю себе вопрос: «Кто я в такие минуты? На что я способен?» И отвечаю: я препятствие для животворящей божественной силы. Во мне нет чистоты, я составлен из вещей этого падшего мира, который во зле лежит. Я состою из привязанностей и страстей, двоящихся мыслей и странных желаний.

Я увидел себя как бы со стороны, стоящим на колених рядом со страдающей женщиной перед кроватью, в которой лежит брошенный всем миром одинокий маленький человечек. А другой «я» стоит в стороне и наблюдает за происходящим, думая о своем месте в чужой жизни и чужой судьбе. Что я делаю здесь, где происходят события, определенные не естественным ходом вещей, а дьявольской силой, способной вносить хаос в установленный порядок? И я своим присутствием должен объяснить этим людям, что Бог не ошибся, что гармония существует, даже несмотря на страдания ни в чём не повинного ребенка. Просто произошла досадная ошибка, сбой в программе человеческой жизни. Но не Бог виноват, виноваты сами люди. Это мой взгляд на происходящее, согласный с опытом церкви. Опыт говорит, что принять страдание ребенка можно лишь тогда, когда ты веришь верой всей церкви, что душа человека бессмертна. Что этот малыш, спасенный от страданий жизни, забирается Богом в лучшую жизнь, где нет ни печалей, ни воздыхания. И эта вера оправдывает любые события жизни, даже самые трагические, неуправляемые события, напоминающие стихийные бедствия. Это войны, в которых гибнут миллионы людей. Убийства, болезни, несчастные случаи. Первое моё «я» принимает этот опыт на веру, а второе «я» говорит: ты не знаешь этого опыта, потому что сам его не проходил. И это второе «я» уличает первое во лжи, потому что это всего лишь оправдание беззаконий, которыми наполнен мир. Бог молчит, потому что Он уже всё сказал челове-

ству. А оно его не расслышало, и этот голос всё больше теряется в пространстве и, кажется, скоро исчезнет совсем. У меня нет сил сказать, чтобы безутешная мать смиренно отпустила ребёнка в лучшую жизнь. Потому что для неё эта «лучшая жизнь» всего лишь смерть. И она, и многие подобные ей люди никогда не бывают готовы встретить трагические события жизни, которые приходят внезапно и застигают человека врасплох. И я не могу сказать людям, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей, потому что через страдания одних обретают жизнь другие. Потому что жизнь и смерть в промысле Божиим — это одно и то же. И рождение в бессмертие достигается страшной кровавой жертвой. Иногда смертью младенца.

— Расскажи, объясни это матери, — говорит мне мой двойник и смотрит, смотрит на нас, стоящих у кровати ребёнка и произносящих механически слова молитвы, высказанные другими людьми несколько веков назад, — вот сейчас расскажи ей, когда она плачет и поглаживает тонкие бледные ручки своего младенца. — Зачем я оказываюсь в обстоятельствах, когда с людьми происходит самое важное и самое главное? Жизнь, любовь, страдание и смерть. Когда в этих обстоятельствах место только Богу, а не человеку, потому что у человека нет сил что-либо изменить.

— Вот ты и должен быть Божьим присутствием, — укоризненно говорит мне второе «я». — Почему же ты не скопил эти силы? Почему ты идешь неуверенной походкой и за тобой не следует бездна по пятам? Почему ты, следуя вперед, дав обеты Богу, трусливо убегаешь назад, в жизнь, чтобы насладиться её благами? Почему, почему?

Илюша уснул. Он лежал в том же положении, в котором я застал его. Мать, склонив голову на подушку рядом с сыном, тоже, казалось, спала. Я не знал, сколько времени продолжалась молитва. Дыхание у них было ровное. Я пошевелился, чтобы встать на ноги, Наталия приподняла голову.

— Хочу лечь, простите, — сказала она, — я очень устала.

Облокотившись о край кровати, она осторожно приподнялась, поправила одеяло на Илюше и сказала:

– Спит, и щеки его порозовели. Спасибо вам.

Я попрощался и вышел в коридор отделения. Он был пуст. Бедная его обстановка удручала: стены обшарпаны, на полу отсутствовали целые куски линолеума, зияли проплешины холодного бетона. Из ярко освещенной двери процедурного кабинета выглянула в полутемный коридор заспанная дежурная медсестра и скрылась. Я прошёл к выходу, не встретив больше ни души.

### **Сыну. Быть или не быть?**

**Д**орогой мальчик! Как-то я для себя вывел формулу, которая объясняет, по крайней мере для меня, процесс деградации всего человечества. Она строится на известном выражении принца датского Гамлета. Ты, конечно, знаешь эту трагедию Уильяма Шекспира. Так вот принц датский, сын короля, узнаёт о том, кто является убийцей его отца. И перед ним стоит выбор, который заключается в следующем: отомстить за смерть отца или оставить убийцу суду Божьему. Надо понять, в какое историческое время происходят события, описываемые в трагедии. Это время в культуре называется Возрождением. Для него характерно то, что человек начинает сомневаться в бытии Бога. Это происходит потому, что, достигнув огромных успехов в области философии, медицины, искусства, он начинает возвеличивать себя и ставить чуть ли не выше Творца. Провозглашает себя мерилем всех ценностей. Средневековый человек верил в Бога, доверял Ему и был Ему верен. И он не сомневался, в отличие от человека Возрождения, в бытии Бога и во всех Его обещаниях. Гамлету приходит мысль о том, что, возможно, неотвратимость божественного наказания – это всего лишь метафора, придуманная для воспитания людей. И в таком случае преступление, связанное с убийством его отца, окажется неотмщённым. Тогда ему нужно осуществить это отмщение. Но в его генетической памяти заложена мысль о том, что если все обещания Бога – правда и наказание не метафора, а суровый Божественный суд в вечности, то он, Гамлет, будет осужден этим судом после совершения убийства Клавдия. Вот

Гамлет и ставит перед собой этот сложный вопрос: быть или не быть? Оставить суд над преступником Богу, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам» (то есть за нас есть кому мстить), и тогда остаться живым в вечности, не погибнуть. Или, совершив преступление убийства, погибнуть в вечности. В этом вопросе сомнения человека эпохи Возрождения. Союз «или» в этой формуле говорит именно об этом.

Почему я привожу эту формулу первой? Потому что она более всего понятна. До этой формулы существовала другая формула, то есть другое содержание сознания человека. Это средневековое сознание. Что для него характерно? Вера в существование Бога. Вера в загробную жизнь после смерти, в неотвратимость наказания. Существует большое количество произведений, в которых осмысливается то, как взаимодействуют друг с другом эти два мира. Мир реальной жизни и мир загробный. Они буквально пронизывают друг друга с пугающими подробностями явления умерших людей и так далее. В таком случае известная формула выглядит так: быть и быть. Союз «и» говорит в ней об отсутствии сомнения средневекового человека. Он был здесь и будет там, в другой жизни, после смерти.

Далее появляется человек уже не с сомнениями, как в эпоху Возрождения, а с отсутствием веры. Человек, несущий в своем сознании нигилизм. Отрицание Бога. Иван Сергеевич Тургенев впервые использовал это словечко в русской литературе. И прививка оказалась столь сильной, что прижилась и пустила корни. Изображая нигилиста Базарова, он говорит его устами: «Вот ты умрешь, тебя в могилу зароят, лопух на могиле вырастет и ничего больше не будет».

Базаров утверждает, что Бога нет и загробной жизни тоже нет. Человек бесконечно смертен. Подлежит естественным законам живой природы: смерть, разложение, тление. И формула, характеризующая сознание человека того времени, выглядит так: быть и не быть. Союзы «и» и «не» выражают отсутствие веры в сознании человека.

Наконец в двадцатом веке появляются люди, которые несут в своем сознании не только отрицание Бога, но и отрицание самой жизни.

Они создали философию экзистенциализма (философию существования), утверждая, что жизнь, наполненная страданиями, болезнями и смертью, не является привлекательной. Жизнь для них — кем-то поставленная трагикомедия, в которой они категорически не хотят участвовать. Они задавались вопросом, почему родители без их на то позволения дали им жизнь. Там, на том свете, — говорили они, — нет никакого Бога и никакой загробной жизни, но и от этой жизни их мучит метафизическая тошнота. И формула, которая выражает последнее состояние человечества, такова: не быть и не быть, где союзы отрицают не только Божество, но и самую жизнь.

Я знаю людей, которые являются носителями подобных убеждений. А искусство лишь выражает глобальные процессы, происходящие с сознанием человека.

### Убийственная красота

Она позвонила мне, когда тело забрали из морга. В голосе слышна была эта угнетающая атмосфера смерти.

Я выехал, чтобы успеть к покойнику. Отпевание планировали на улице.

Волновался ли я? Нет, не волновался. За двадцать лет священнического служения я видел много умерших людей. Это были мужчины и женщины разных возрастов; юноши и девушки, дети, скончавшиеся от болезни, утопленники, люди, погибшие в автокатастрофах. Не люблю читать на службах записки об упокоении, в которых пишут «убиенный такой-то», «младенец такой-то». Противостоит естеству: забивают скот, а не людей. Нарушается порядок вещей, распадается гармония мироздания, попирается справедливость. Попробуйте сохранить веру, когда вы отпеваете младенца, а его молодая мать, обидевшись на Бога, не стоит у гроба, не молится, а сидит окаменевшая, бледная и опустошенная на кухне, где пахнет приготовленной едой для поминальной трапезы.

Я знал этот двор. Четырехэтажные хрущевки полинялого желтого цвета. Гроб стоял у подъезда. Несчастливая отделилась от толпы и вышла мне навстречу. В черном платке, исхудавшая и сильно постаревшая за одну ночь.

Мы остановились друг против друга.

— Здравствуй, — как можно спокойнее сказал я. — Как ты?

— Все дрожит внутри. Я хочу, чтобы это скорее закончилось. Я здесь никому не нужна. Его нет уже. А они все меня не видят, не замечают. Так трясет, что душа готова выскочить.

— Ты подойдешь ко мне после службы, ладно? Проводишь меня?

— Хорошо.

Я пошел вперед, к толпе. Вокруг гроба стояли женщины и один мужчина. Мать присела на табурет у гроба. Она не плакала, а просто не отрывая глаз смотрела в лицо умершего сына. Единственный мужчина, ее муж и отец покойного, был рядом, как мог, поддерживал ее.

Другие мужчины стояли поодаль, в стороне. Все, казалось, что сейчас будет происходить, их не касается. Это дело женщин — молиться, плакать. Эта «лирика» со службой, священником не для них. Они в своем суровом братстве. Курят, переживают. Дальше, у палисадника, большая стая ребят в черных коротких куртках. Руки в карманах, сутулятся, бросают взгляды исподлобья. Это друзья, сверстники. Стоят отстраненно, поглядывают одичало в сторону гроба. Есть в этих взглядах что-то геройское, залихватское и гордое. Как будто говорят: на его месте мог быть каждый из нас, но нам совсем не страшно. Живут так, как им нравится с молчаливого согласия либеральной власти. Они никому не нужны: ни государству, ни обществу, — ими никто не занимается. Это молодые волки, которые пытаются выжить в толкотне наших серых городов. Большевики знали, как воспитывать подрастающее поколение. Октябрята, пионеры, комсомольцы — братство, сплоченное продуманной идеологией. Ускользали только самые дерзкие, свободолюбивые. Одних ждала тюрьма, других — семинария, но это явление было редким и расценивалось как ЧП местного масштаба. «Идите узкими воротами, ибо широки врата, ведущие в погибель...»

— Как зовут покойного? — спросил я.

Мать очнулась от оцепенения и медленно повернула голову в мою сторону. Она горько заплакала.

— Евгений, — сухо сказал отец.

— Тезка, — тихо и грустно произнес я.

Евгений казался юным мальчиком. Черты лица его обострились, темные, почти черные волосы на голове и бакенбарды вдоль щек подчеркивали белизну и утонченность молодости. В этом безжизненном, застывшем покое было что-то пронзительно благородное. Он как будто замер и уснул. Евгений был красивым юношей. Но это была убийственная, может быть, демоническая красота. Как страшна может быть красота! Бедная, бедная девочка! Не могла устоять.

«И приходил к ней Змий в естестве человеческого, зело прекрасном». Бедная, не смогла сопротивляться, даже перед лицом смерти не включился инстинкт самосохранения.

Вспомнились слова Пушкина: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья. Бессмертья, может быть, залог...» О каком бессмертье говорил Пушкин в «Пире во время чумы»?

— Господи! — шептал я. — Будь милостив к ним, не ведают, что творят.

Я вновь посмотрел на его друзей. В легких курточках, джинсах, руки в карманах. Жмутся, покуривают. Взгляды непреклонные. Ни страха, ни раскаянья в глазах нет. Донесся этот специфический запах аптеки. Так пахнет сейчас во всех подъездах, особенно по вечерам.

«Я должен сказать им что-то важное после отпевания. Предупредить об опасности, научить». Но мой опыт подсказывал: «Это бесполезно, они не услышат». А другой голос говорил: «Если услышит один, хотя бы один человек — это уже много». Слова Пушкина звучали у меня в голове: «Все, все, что гибелью грозит...» Какая русская мысль!

И вдруг меня осенило. Русскому человеку нужны такие обстоятельства, при которых необходимо «положить душу свою за други своя». Этот подвиг, этот порыв всегда готов исполнить русский человек. Это в его ментальности, в его глубинах, в его корнях сокрыто. Сколько раз провокаторы использовали это свойство русской души — способность к жертвенности! И эта сила уходила в песок. Русская история, новая история, знает множество примеров.

Второго августа, в день ВДВ, еду в машине и вижу двух десантников, идущих навстречу друг другу. Однополчане. Один снимает гимнастерку, крутит ее в руке, потом бросает в сторону,

оставаясь в одной тельняшке. Сходятся и обнимаются, обхватывая друг друга ручищами. Таких не победить. «Положить душу за други своя». Исполнят интернациональный долг, умрут за целостность, суверенитет России.

Я зажег уголь, положил его в кадило, присыпал ладан и произнес:

— Зажигайте свечи. Давайте молиться, давайте отпевать, — и возгласил громко: — Благословен Бог наш...

Было ветрено и влажно. Ветер уносил голос, и он терялся в пространстве. Свечи гасли, и, казалось, все были озабочены и заняты только тем, как вновь зажечь свечу и уберечь ее от внезапного порыва ветра. Но те, кто был придавлен горем, даже не пытались этого делать. Стояли с погасшими свечами и были далеки от понимания службы. Только слова «Со святыми упокой и вечная память» пробуждали их и застигали в одиночестве этого страшного мира, от которого, как им казалось, отвернулся Господь Бог.

Едва я закончил чин погребения, как послышались рыдания матери и близких.

— Да сыночек!.. Ты мой сыночек, зачем нас оставил?..

У многих глаза наполнялись слезами.

Я почти дошел до машины, когда услышал шаги и всхлипывания за спиной. Его возлюбленная, вытирая слезы, догоняла меня.

— Знаете, я так решила. Я уеду на Украину к маме. Я не скажу его родителям, что ношу ребенка, его ребенка.

Она была не в себе, слезы катились по ее щекам, она ладошками стирала их.

— Может быть, это неверно... Может быть, им надо сказать, что ты носишь частицу их сына. Они будут утешены тем, что он не умер до конца, что он будет похож на их мальчика, на своего отца. Понимаешь?

— Это невозможно. Они чужие люди. Они даже на меня не смотрят. Они не признают меня.

— Это потому, что они не знают, что вы были как бы мужем и женой, и что у вас было намерение венчаться, и что ты беременна.

— Это ничего не изменит, потому что они не поверят мне.

— Поверят. Как тебя зовут?

— Катя.

— Катя, поверят. Поверят. Знаешь, я просто

уверен в этом. Даже если могут в своем сознании допустить, что, не дай бог, это не ребенок их сына. Ситуация такова, что они все равно поверят, потому что это надежда для них и новый смысл жить, понимаешь? Особенно это важно для матери. Я тебе скажу страшную вещь. На кладбище, куда ты сейчас поедешь, ты обрати внимание, там захоронено очень много молодых людей. Присмотришься к их могилам и рядом ты обязательно увидишь еще могилу, в этой же ограде, и это обязательно любящая мать лежит. И если ты посмотришь на даты смерти, то будешь очень удивлена. Мать переживает сына на год, полтора, не больше. Она не может дальше жить, понимаешь? Точно так же может произойти и с матерью Жени. А ты дашь надежду, ты дашь ей смысл жить.

— Она мне не поверит, — немного успокоившись, произнесла Катя.

— Катюша, не делай скоропалительных выводов. Хочешь, я поговорю с ними, помогу тебе.

— Я не знаю, нужно ли это мне...

— Ты подумай, подумай. Ведь это жизнь. Но я хотел сказать тебе, чтобы ты прошла обследование. Сдала специальный анализ. Понимаешь, о чем я говорю?

— Понимаю.

— Пообещай мне, что это сделаешь.

— Хорошо, — она вздохнула, — ладно, я пошла. Спасибо вам за все.

Я кивнул головой.

— Береги себя.

Она скрылась за углом дома. Больше я ее никогда не видел.

### Дьявольский проект

Сын вошёл в кабинет, увидел меня сидящим за столом с книгой.

— Пап, хотел спросить у тебя про эту девочку и наркомана. Ты повенчал их?

— Нет, парень умер, — ответил я. — Вместо таинства венчания совершил обряд погребения.

— Жаль, — грустно произнёс Иван, — в любом случае жаль. А что с ней?

— Она носит его ребенка.

— Она беременна? — искренно удивился Иван.

— Да, беременна. Родом с Украины, живёт

здесь у бабушки, родители там, на Украине, ничего не знают.

— Вот будет подарочек, — Иван усмехнулся.

— Знаешь, — сказал я, — смотрел на его друзей, когда отпевал, и думал о том, что современные люди потеряли критерии добра и зла. Они сейчас заключают сделку с дьяволом и даже не понимают этого. К примеру, люди девятнадцатого века определённо знали, когда они отступали от Истины и продавали душу дьяволу, потому что христианство пронизывало жизнь общества. И этим пониманием люди были защищены. Нравственные представления были растворены в атмосфере жизни. Они были нормой общественной жизни. А теперь этого нет. Понятия добра и зла настолько условны, что люди переходят от одного состояния к другому и даже не замечают этого. А это означает, что они открыты для влияния темных сил, совсем от них не защищены. А между тем чёрт — это личность. Самая реальная личность. Он рыскает как волк и ищет, кого поглотить. Я наблюдаю за современными преступниками, которых ежедневно показывают по телевизору, и всё более утверждаюсь во мнении, что в их преступлениях им помогает дьявол, чёрт. Он вселяется в этих людей и их руками совершает злодеяния.

— Значит, они тоже жертвы? — удивился Иван.

— Да, жертвы. В каком-то смысле жертвы.

— То есть они ни в чём не виноваты? — изумился Иван. — А виноват чёрт, который совершает убийства, насилия?

— Виноват чёрт, но его никто не видит, — утвердительно сказал я, — а этого-то ему как раз и надо.

— Пап, по-моему, ты сходишь с ума со всеми своими рассуждениями.

— Это не я схожу с ума, это мир сошёл с ума, сынок. Ты послушай меня, присядь.

Иван послушно уселся напротив меня.

— Преступника привозят на место преступления и проводят следственный эксперимент. Ему дают куклу, которая исполняет роль жертвы, и он хладнокровно повторяет те действия, которые совершил над человеком во время насилия и убийства. Шаг за шагом он рассказывает и показывает всё до самых шокирующих мелочей. Его спокойствие в этом процессе поражает. Я наблюдаю за ним и понимаю, что то, что

он показывает, человек совершить не может. Потому что это несвойственно человеку. Значит, это совершил кто-то другой, кто не является человеком? Но я вижу перед собой человека. У него такие же руки, голова, туловище, как у всех людей. У тебя, у меня. Но при этом в нём есть что-то внутри, какая-то сила нечеловеческая, которая управляет руками, головой, туловищем, и он совершает злодейство, в котором впоследствии или раскаивается, или удивляется тому, что сделал. Вот эта тёмная сила и есть чёрт. Вот этой чертовщиной и совершаются все злодеяния. Люди тотально не защищены от этой смеющейся, бессовестной силы. И это трагедия нашего времени. Подлинная трагедия. Бесчувственность к силам зла — вот примета нашего времени, а не только экономические или политические проблемы. Подобным образом действует человек и в другом случае. Эгоистичный человек вдруг совершает жертвенный поступок по отношению к другому человеку. Удивительно? Удивительно. В этот момент человек перестаёт думать о себе любимом, он думает о другом. Что движет человеком в минуту совершения жертвенного поступка? В нём проявляется другая сила. Но какая? В нём действует сила Божественной природы. Я абсолютно в этом убеждён. Сам человек не способен творить добро. Равно как он не способен творить и зло.

— На что же он тогда способен? — воскликнул в изумлении Иван.

— В том-то всё и дело, в том-то и загадка... — я искал слова, чтобы выразить то, что на меня нашло каким-то удивительным чувством. — В том-то и загадка, что человек зависит от сил, которые на него действуют. Если на него действует дьявол, он может подчиниться дьяволу. Если на него действует Бог, он может подчиниться Богу. И именно эти две противоположные силы влияют на человека всю его жизнь. Какой силе человек скажет «да», той силе он и подчинится. Другого выбора у него нет. Нет перевалочной станции, где бы он мог остановиться и отдохнуть, то есть не действовать. Он каждую секунду своей жизни подчиняется и служит либо одному началу, либо другому.

Я замолчал и внимательно смотрел на сына:

— И я хочу тебя спросить, кому легче подчиниться: Богу или дьяволу?

— Конечно, Богу, — поспешил ответить Иван. — Бог же это всё доброе, всё разумное, понятное человеку.

— Тут ты ошибаешься, — поправил его я, — должно быть так, как ты говоришь. Но на самом деле Бога понять, а тем более вместить в себя гораздо сложнее, чем дьявола.

— Почему?

— Потому что Бог сложен, а дьявол прост. Потому что изначально человеческая природа была ближе к Богу, но после грехопадения всё изменилось. Человеческая природа стала ближе к дьяволу, чем к Богу. Зло укоренилось в человеке, пустило ростки. И чтобы понять и принять Бога, человеку надо над собой усилие сделать. Надо трудиться над собой, менять свою греховную природу. А человек ленив. Особенно русский человек.

— В твоём прикладном богословии, — успокаивая меня, сочувственно сказал Иван, — пап, прости, я ничего не понимаю. Думаю, что и люди тебя не поймут, скорее примут за сумасшедшего. Я надеюсь, что ты не говоришь проповеди на эту тему? Хотя, — Иван улыбнулся, — есть человек, который верит тебе и понимает. Это Вера.

— Видишь, — улыбнулся я ему в ответ, оставив без внимания ироничный комментарий, — и ты не веришь в существование дьявола. Общество двадцать первого века считает себя слишком развитым, чтобы придавать значение религиозным пережиткам. Я же, напротив, думаю, что общество слишком отстало, привязавшись к земному существованию и только земному. Оно забыло о вечности, а лучше сказать, о бездне, в которую оно стремительно направляется.

— Пап, я тебя прошу, кроме меня, и в крайнем случае Веры, никому подобное не рассказывай.

— Дьяволу этого только и надо.

— Пап, я тебе всё сказал.

И Иван вышел из кабинета. Через некоторое время хлопнула входная дверь.

Я попробовал читать книгу, но мысли убежали прочь. Я прилег на диван в кабинете и задумался. Главный грех человеческой цивилизации — это грех гордыни. Опаснейший грех, который ведет к гибели не только самого человека, но и всю цивилизацию. Непризнание авторитетов,

отказ от всего священного, попрание преданий, неуважение к духовному опыту отцов и великих учителей, забвение уроков истории — вот характерные черты современности. Но человек без души не живет. И народ не может существовать и развиваться без созерцания Идеала. В противном случае из народа он превращается в некое население, механически управляемое обезличенными законами бесчувственной государственной машины. Нет больше ни глубины, ни высоты, ни тайны в человеческом существовании. Особенно раздражают разговоры о тайне.

Рационализм сознания и реализм действительной жизни давно направляют Европу и Америку к новой религии, которая легла в основу укоренившегося капитализма. Долгое время Европа была хранительницей истинных христианских ценностей, христианских идеалов. Но она предала Христа, отказалась от Него ради новых ценностей и ложных идеалов, лукаво освятив капитализм религиозными корнями и даже христианским авторитетом! Одни люди предопределены к спасению, говорят идеологи религиозного капитализма, другие — к гибели. Первые должны наслаждаться и господствовать, удел богоотверженных — страдать и обслуживать первых. Критерий богоугодности в этой новой религии — жизненный успех и прежде всего — материальный достаток. Вот она, американская мечта! Религия денег.

Есть ли упоминание о ней в Священном Писании? Есть.

Я встал с дивана и открыл Евангелие от Матфея. Вот: «Никто не может служить двум господам, — говорит Христос в Нагорной проповеди, — не может служить Богу и мамоне». Служить, поклоняться, верить — черты религиозного сознания. Нет сомнения, поклонение золотому тельцу — это религия.

Я поискал место, где говорилось о мамоне. «Мамона — сирийский демон наживы, алчности». Христос указывает на несовместимость христианства с религией ростовщиков, банкиров, православной цивилизации — с рыночным обществом потребления.

Европа и Америка выбрали религию денег. Это не новая религия. В древности знали угрозу, исходящую от этой религии, и вели с ней непримиримую борьбу, понимая, что религия

золотого тельца постепенно вытесняет из человека не только все святое, но даже и человеческое. Добродетели в таком обществе умаляются, что приводит его к разрушению.

Я снова прилег на диван. Комнату освещала настольная лампа. В углах было темно. Закрыв Евангелие и положив его на грудь, я взял в руки раскрытую отложенную книгу и углубился в чтение:

«Церковь называется единою, святою, соборною (кафолической и вселенской), апостольской, потому что она едина, свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности, потому что ею светится все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле, признающих её, потому, наконец, что в писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, её упований и её любви.

Каждое действие церкви, направляемое Духом святым, духом жизни и истины, представляет совокупность всех его даров — веры, надежды и любви; ибо в Писании проявляется не одна вера, но и надежда Церкви, и любовь Божия, и в деле благоугодном проявляется не любовь одна, но и вера, и надежда, и благодать, и в живом предании Церкви, ожидающей венца и совершения своего от Бога во Христе, проявляется не надежда одна, но вера и любовь. Дары Святаго Духа неразрывно соединены в одном святом и живом единстве: но как богоугодное дело наиболее принадлежит надежде, так богоугодное исповедание наиболее принадлежит любви, как богоугодная молитва наиболее принадлежит надежде, так богоугодное исповедание наиболее принадлежит вере и неложно называется исповеданием Церкви, исповеданием или Символом Веры.

Поэтому должно понимать, что исповедание, и молитва, и дело суть ничто сами по себе, но разве как внешнее проявление внутреннего духа. Поэтому еще не угоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни исповедующий исповедание Церкви, но тот, кто творит, и исповедует, и молится по живущему в нем духу Христову. Не у всех одна вера, или одна надежда, или одна любовь, ибо ты можешь любить плоть, надеять-

ся на мир и исповедовать ложь; можешь также любить, надеяться и веровать не вполне, а отчасти; и Церковь называет твою надежду надеждой, твою любовь любовью, твою веру верой, ибо ты их так называешь и она с тобой о словах спорить не будет; сама же она называет любовь, и веру, и надежду дарами Духа Святого и знает, что они истинны и совершенны».

Я с внутренней тихой радостью, «которую никто не отнимет ни в этом веке, ни в будущем», отложил книгу. Чтение вдохновляло меня, придавая смысл моим усилиям при строительстве храма. Оно заставляло мыслить и действовать в служении главной идее моей жизни — созиданию «Становящегося смысла», пониманию того, что мир создан ради Церкви!

«Не у всех одна вера...»

Ивана все ещё не было дома. Я поднялся с дивана, положил Евангелие на письменный стол и зажег лампаду перед образом Спасителя. Раскрыв молитвослов, начал читать вечернее правило.

Тревога не покидала меня несколько последних дней. Природа её была разная. Она исходила от людей, которые окружали в церкви, от трудностей, связанных со строительством, от внутренних неудач. Но более всего меня тревожила неприкаянная судьба моего сына. Я произносил слова молитвы и прислушивался, не стукнет ли металлическая дверь нашего подъезда.

Вспомнил Веру и невольно улыбнулся в темноте.

### Рубин

**Я** встретил его на улице.

— Рад вас видеть, Рубин Алшеевич. — Я протянул ему открытую ладонь для приветствия.

— Здравствуй, Евгений Владиславович. — Он любил поговорить со мной, блеснуть эрудицией, независимостью и непреклонностью. — Как ваша жизнь? Все в непосильных трудах? Подождите, подождите, — он что-то вспомнил, достал телефон и принялся набирать номер.

— Валя, ты меня слышишь? — он звонил своей русской жене. — Передо мной отец Евгений, твой любимый батюшка. Поняла? Хорошо. Ты говорила мне, что хочешь пожертво-

вать на строительство храма. Да, да, как хорошо, что я вспомнил. Так вот, я тебе говорю, — он полез при этих словах в карман пиджака, — я отдаю батюшке тысячу рублей. Когда приду домой, ты мне их вернешь. Договорились? Да, да. Я уже пожертвовал, — он протянул мне тысячную купюру. — Как хорошо, что я вспомнил, ей будет приятно.

— Благодарю и вашей жене благодарности.

Положив деньги в карман подрясника, я обратился к Рубину с предложением, которое стало притчей в наших разговорах:

— Рубин Алшеевич, я уже пятнадцать лет уговариваю вас принять православие.

— Мы что, уже пятнадцать лет знакомы?

— Представьте, да. Помните, мы ездили в Набережные Челны за машинами «Ока». И попали на Страстную неделю. Отказаться было нельзя, потому что машины нам продавали по льготной цене. А когда приехали на завод КамАЗ, там в эту ночь случился пожар, и мы вернулись назад ни с чем. Господь не допустил. Я был немало удивлен этим событием и, насколько помню, вы тоже. Тогда и состоялся первый разговор на тему крещения.

— Неужели прошло пятнадцать лет?

— Да, Рубин Алшеевич, а вы до сих пор не покрестились. За вас даже нельзя молиться.

— Почему?

— У вас нет имени.

— Да, я помню. Когда я сказал Петру из скита о моем диабете, то он мне ответил: «Я тебе помогу, только дай мне твое имя». Я сказал тогда, что я не готов. Он послал меня лечиться к докторам. И они меня сделали инсулинозависимым.

— Покреститесь, мы вас с Валентиной вымолим.

— Евгений Владиславович, я еврей. Меня зовут в синагогу. Но у меня слишком много работы, нет времени принять решение. Давайте я вам лучше расскажу анекдот. Вам понравится, там про ваших есть тема:

«Приходит старый еврей к раввину.

— Мойша, я влюбился в молодую девушку.

— Так женись на ней, — говорит Мойша.

— Если я на ней женюсь, она будет изменять мне.

— Тогда не женись на ней.

— Но я не могу без нее, я каждый день думаю.

— Тогда женись на ней.

— Но я стар, она молода. Я умру, она завладеет всем моим имуществом.

— Тогда не женись на ней.

— Но я не могу без нее. Она не оставляет меня даже во сне.

— Тогда женись на ней.

— Но я... — хотел продолжить старый еврей.

Раввин остановил его.

— Знаешь, Абрам, иди к православному священнику и морочь ему голову. Хорошо?»

Мы рассмеялись.

— У вас тот же номер телефона? — спросил меня Рубин.

— Да, тот же.

— Я рад был вас видеть. — И мы попросились.

Он создал фирму по продаже металла. Как водится, покупал подешевле, продавал подороже. Ему позволялось это, так как у него были связи и его ценили за ум. Компаньон по фирме называл его гениальным:

— Представляешь, он помнит все цифры, все договора, все накладные, сколько бы много времени ни прошло. Рубин просто феномен.

А болезнь трепала его, и он создал центр инсулинозависимых диабетиков. Тратил деньги на лекарства, на материальную и моральную помощь этим несчастным людям, к которым и сам принадлежал. Но болезнь усиливалась. Вскоре он стал приходить на работу всего на пару часов и возвращался домой. А через несколько месяцев уже не мог выходить из квартиры.

Мне позвонила его жена Валентина.

— Вы можете посетить нас? Рубин вас зовет.

Я приехал вечером для разговора. Его было трудно узнать. Вообще, он был высокий, очень статный мужчина. В нем чувствовалась порода. Волосы темные, открытый, умный взгляд, походка стремительная.

То, что я увидел, обескуражило меня: опухшее, одутловатое лицо, верхняя часть туловища выглядела крупной, а ноги были худые и белые.

Я сел на стул перед кроватью.

— Помоги мне, — обратился он ко мне на ты.

— Мне нужно твое имя.

— Я готов. — Он помолчал. — Если можешь, приезжай завтра, потому что послезавтра меня положат в больницу.

— Хорошо. Я приеду завтра и перекрещу тебя.

— Знаешь, приходили мои. Но я не хочу. Им нужны только деньги. А ты никогда не попросил. Ценю и еще раз ценю.

Он молчал, я сидел рядом и тоже молчал.

— Знаешь, бывает плохо с сердцем. А я так этому рад. Я бы хотел умереть от сердца. Чтобы сразу, без мучений.

— Ты будешь жить, Рубин.

— Приходи завтра, — он закрыл глаза.

На другой день я перекрестил его с именем Антоний. Прощаясь, Валя сказала мне:

— Я так рада, что он через болезнь принял веру и теперь мы там, за гробом, будем вместе. Неужели людям так надо страдать, чтобы обрести Бога, батюшка?

— У всех разные пути. Кому-то надо и страдать.

После больницы ему стало легче. Он приободрился и позвал меня.

— Отец Евгений, это Рубин, — голос его звучал как прежде. — Я звоню с мобильного и вам звонок бесплатный. Я тебе верю. Что нужно еще сделать новому христианину?

— Рубин, надо поисповедоваться, причаститься и пособороваться.

— Я готов. Приезжай.

— Только с утра ничего не ешь. Я приеду пораньше, часов в семь, перед службой, причащу тебя.

— Я и так ничего не ем, — бросил Рубин, — нет аппетита.

Утром мне открыла дверь Валентина. Она была заспанная, в халате.

— Он ждет вас. Так верит и надеется.

Рубин приступал к Причастию святых Христовых тайн торжественно и серьезно, с глубокой верой.

Раб божий Антоний. Жизнь и болезнь смирили его, и он преклонил колено перед Господом.

Через три дня мы должны были пособороваться дома. Но этому не суждено было случиться. Через два дня он почувствовал себя плохо, его по скорой забрали в больницу, и он впал в кому. Я должен был прийти к нему в реанимацию и совершить последнее таинство Святого елея.

Меня пропустили к нему. Положение было безнадежным, но Рубин был еще жив. Я готовил

масло и вино, ставил свечи, облачался в епитрахиль и поручи, а сам смотрел в неподвижное лицо и говорил тихонько (мы были одни):

— Рубин Алшеевич, дорогой Антоний. Я верю, что твоя бессмертная душа будет спасена для Рая, потому что Крещение, вода Иордана омыла тебя и очистила от всех прегрешений. Твои страдания, твое смирение, покаяние и огонь Причастия довершили очищение твоего сознания, и Господь готов принять твою душу. Нужно только вымостить ей дорогу елеем и молитвой. К этому мы сейчас и приступим.

— Благословен Бог наш, — возгласил я в эту минуту и увидел, что шевельнулись ресницы на его глазах.

Я молился вдохновенно и спокойно. Творилась подлинная тайна и таинство. Логос, Слово, Сам Спаситель участвовал, погружаясь во Ад человеческого существования с самим человеком, не оставляя его в самые трагические минуты жизни.

Через несколько часов раб божий Антоний умер...

### Панагия

Пасха пришла вместе с весной. Стены нашего нижнего храма, оштукатуренные известковым раствором и побеленные известкой, изрядно потемнели от копоти, исходящей от горящих свечей и кадила. Нижний храм был похож на кузницу, но никто не замечал этого. Все радовались, мыли окна, вновь, как и в прошлом году, белили известкой стены, смахивали пыль с икон. Мы знали, что придет время, когда мы войдем в верхний придел храма, который будет сиять чистотой и новизной. А в нижнем храме наконец сделаем настоящий ремонт. А пока нужно было служить, чтобы народ приносил свои лепты на затянувшееся строительство.

Я вспомнил, что не отнес мальчику просфору с Пасхальной службы. Вспомнил к вечеру. Прием посетителей давно закончился. Закрыты все двери детской больницы кроме приемного покоя. Отделение гематологии находилось в другом крыле, на втором этаже.

Я решил идти. Илюше будет радость, а радость всегда настраивает на выздоровление. Я

проехал в ворота, показав охранникам в окно автомобиля вместо пропуска протоиерейский наперсный крест. Пропустили, и я подъехал к больнице, к приемному покою. На улице было по-весеннему прохладно, пахло свежестью. На черных клумбах распустились нарциссы и тюльпаны.

Дверь была не заперта. Я вошел на стеклянную веранду, а затем в коридор. Больница не дежурила в этот вечер, поэтому было мало персонала. Когда я шел по коридору по направлению к нужному мне отделению, из лаборантской вышла молодая женщина.

— Христос Воскресе! — радостно произнес я.

— Воистину Воскресе! — ответила она, разглядывая меня: — А вы к кому?

— Мне надо пройти в отделение гематологии.

— Но все двери закрыты на втором этаже.

— А что же мне делать? Там больной мальчик Илюша. Я должен, понимаете, должен его увидеть и передать это.

Я развернул платок и показал медсестре Богородичную большую просфору.

— Это Панагия, понимаете? С Пасхальной службы.

Она внимательно смотрела на меня.

— С такой Панагией, с такой просфорой монахи Афонского монастыря после совершения службы идут все вместе в трапезную. Они ее несут торжественно, в специальном сосуде, чтобы начать трапезу с благословения Божьей матери. Панагия — это как бы Богородица, понимаете? Мне надо...

— Подождите здесь.

Она побежала по узкому коридору и через минуту вернулась с охранником, который нес ключи от двери на второй этаж.

— Я очень быстро, — радостно, торопливо говорил я, обращаясь то к сестричке, то к охраннику.

— Столько, сколько нужно, — сурово сказал охранник.

Я юркнул за дверь, светившуюся матовым стеклом, и побежал наверх, схватив в охапку полы подрысника.

В отделении слышался детский смех. Я приоткрыл дверь и заглянул в коридор.

Трое бледных ребятишек играли, запуская бумажный самолетик. Он то взмывал вверх, то на-

тыкался на крашенные стены, то пикировал вниз, в пол с разодранным линолеумом. Увидев меня, дети сбились в стайку.

— Христос Воскресе! — шепотом, улыбаясь, проговорил я, оглядывая коридор.

— Здравьете! — смущенно ответили дети. Они знали, к кому я пришел.

— Они там, у них открыто, — показала пальчиком старшая девочка.

— Отлично, — сказал я и пошел в Илюшину палату.

Она находилась в десяти шагах. Я тихонько постучал. Мама Илюши сразу мне отворила. В комнате было светло. Илюша сидел на своей кровати и, как всегда, был молчалив и серьезен для своих двух с половиной лет.

— Христос Воскресе! — радостно сказал я Наталии. — Простите, что так поздно приехал к вам.

— Где же вы прошли?

— Это все Богородица, — ответил я и подошел к Илюше.

— Христос Воскресе, Илюша!

Он смотрел на меня темными серьезными глазами.

— Смотри, что я тебе принес.

Я неторопливо разворачивал платок.

— Скушаешь и будешь поправляться, выздоравливать.

— Илюша, смотри, батюшка принес тебе святой хлебушек.

Илюша смотрел, казалось, безучастно.

Я протянул ему просфору на платке.

Он не шевелился.

— Бери, бери смелее!

Он лишь моргал длинными ресницами.

— Илюша, бери хлебушек, — Наталия подсе-  
ла к нему на кровать.

Илюша протянул свою припухшую, бледную, всю в метках от укулов руку, аккуратно взял просфору и положил ее рядом на постель.

— Спасибо вам большое, — проговорила Наталия.

— Как он?

— Не очень хорошо.

— Я молюсь за него и за вас. Держитесь. Уже поздно. Пойду, а то закроют меня здесь. Илюша, до встречи.

— До встречи, — чуть слышно произнес он,

все-таки заразившись от меня Пасхальной радостью.

— Спасибо вам, — повторила мне в дверях его мама.

— Звоните, хорошо?

— Хорошо.

Охранник внизу сидел на стуле в ожидании меня.

— Благодарю вас.

— Не на чем.

Я выскочил на улицу. На душе было тревожно, беспокойно.

Почему дети заболевают лейкозом? Этот мальчик едва стал сознавать себя и ничего, кроме страдания, не испытывал. Он думает, что жить — это означает страдать. Страдание и жизнь для него неразделимы.

Может быть, это так и есть. Но только не в два с половиной года. В эту пору дети неосознанно счастливы. Все дети, кроме тех, которые страдают тяжелыми недугами и думают, что жить означает страдать. Чаще они уходят из жизни, оставляя пустоту в сердцах тех, кто им дал эту жизнь — страдание и недоуменный вопрос: «почему?»

Если болеют дети, нет справедливости в этом мире. Зачем родиться, страдать и умереть? Кому нужна эта жизнь-страдание? Кому нужна эта жертва — Богу? Любящему всех Богу?

Силуан Афонский говорил: Бог любит милующее сердце. Растет на веточке листочек. Можно сорвать. Ничего в мире не изменится. Но зачем? — спрашивает Силуан. Ползет по земле букашка. Можно раздавить. Ничего в мире не изменится. Но зачем?

Но человек не веточка от дерева и не букашка. Кто его может сорвать или растоптать? Человеческий грех, порок, проклятие?

Силуан в юности был недюжинной силы. Мог выпить четверть после трудового дня и идти домой не шатаясь. Однажды проломил ударом грудь односельчанина, после чего оставил мир, уйдя в монастырь.

Он понял, что гармония в мире поддерживается не человеком, а Богом в его мире первозданной красоты. И ничего нельзя менять снаружи. Менять нужно только себя, внутри себя, изучая судьбы божьи и человеческие.

«Бог любит милующее сердце». Бог жалеет

листочек, исполненный жизнью, и букашку — воплощенную жизнь. Зачем страдает ребенок? И, страдая, умирает. Если это так, значит, невозможна гармония? Насколько Человек ценнее в глазах Божиих листочка и букашки?..

### Смерть мамы

Мама отличалась сильным характером. Она управляла всем домом, никому не давая расслабиться. Когда заболела, то никто этого не заметил. На своем дне рождения, когда приехал из Москвы мой старший брат (он всегда приезжал на ее день рождения, первого апреля), она выглядела просто уставшей. Конечно, ей исполнилось восемьдесят два, но она никогда не выглядела бабушкой, отличаясь острым, живым умом, способностью к анализу всего происходящего.

Но позже, просматривая фотографии с последнего дня рождения, я обратил внимание на ее глаза. Во взгляде была не повседневная усталость, а утомленность от жизни. Выцветшие глаза уже не здешние, а потусторонние. Она готовилась. Некоторое время назад она, уже несколько месяцев не выходящая из дома, вдруг ушла куда-то, удивив всех, и заблудилась. Она собиралась в долгий путь и как бы испытывала дорогу.

Брат уехал, попрощавшись с ней, а она начала слабеть. Пропал аппетит, она почти не вставала. Я приехал ее пособоровать и причастить.

Она села в ночнушке на диване, на котором всегда спала, взяла в руки свечку и со всей серьезностью сконцентрировалась на Боге. Молилась с покорностью, собрав последние силы.

Когда таинство было закончено, она легла и закрыла глаза. Я попросил ее покушать. Она отказалась. Но, спохватившись, из уважения к сану священника она ради послушания взяла тарелку, ложку, начала есть и сказала:

— Хочешь меня заставить жить? — И посмотрела на меня, ничего не понимающего в жизни.

И я, как всегда без меры веря в свои силы, сказал:

— Хочу и заставлю.

Она промолчала. Отставив тарелку левой рукой в сторону, легла.

— Не могу. Нет сил.

Потом я уехал, а через несколько часов мне позвонила сестра и попросила срочно приехать. Это было 28 апреля. Мама была очень слаба и бледна. Всегда чувствуешь приближающуюся опасность.

— Надо срочно в больницу, — твердо сказал я. Мама тоже была в страхе. На какое-то мгновение паника овладела ею.

Я позвонил знакомому врачу и попросил устроить маму в больницу, которую как раз окормлял духовно.

Приехала скорая. Носилки не проходили в двери квартиры и узкого маленького лифта. Нужно было спускаться с девятого этажа по лестнице.

Я попросил санитаров помочь мне. Мы посадили маму на стул и, приподняв его вместе с ней, понесли из квартиры. Все делалось в суматохе, неловко, грубо.

Она последний раз проявила свой непреклонный характер, сказав мне прямо в ухо, когда я нес ее:

— Все у вас остаётся на потом. Какая беспечность. Не можете вы по-другому.

В машине скорой помощи она не говорила, а у приемного покоя больницы произнесла:

— Бедная, бедная Наталия! — Она имела в виду мать моих детей.

А потом она замолчала. Навсегда.

Ее отвезли на коляске в палату интенсивной терапии. Она впала в беспамятство. Но я думаю, что она просто замолчала, терпела, потому что, когда ставили уколы или брали анализы, она вскрикивала от боли, как человек, который все чувствует и все понимает. Позже я очень жалел, что подверг её последние часы жизни таким испытаниям. Видимо, из эгоизма, чтобы снять с себя ответственность за будущее мамы. Дескать, сделал всё, что мог для её спасения, вручив в руки врачей, которые, кроме боли, ничего ей не принесли, когда надо было возложить упование на Бога и Его милосердный промысел.

Она все время зачесывала свои волосы пальцами наверх и поправляла белую простыню, которой мы с сестрой ее поминутно укрывали. Анализы показали острый лейкоз. Болезнь развивалась стремительно, и в следующую ночь, под утро, сердце ее остановилось.

Когда я глядел на нее в эти последние часы жизни, я понял, что смерть не страшна. Нужно просто немного потерпеть, как мы терпим лишения, страдания, боль, и этот переход случится.

Дальше началось самое постыдное в моей жизни.

В обиходе среднего персонала больниц есть слово «труповозка» — гадкое, унижительное название автомобиля, старого, заржавевшего от времени. Придумал это название какой-нибудь остряк-даун, слабоумный. Я видел одного такого, сказавшего о бродящих по территории больницы собаках:

— Давай их убьем. Чё ими делать?

И подхватили все это название — от санитаров до врачей. Труповозка.

Я шел за мамой, которую везли на каталке к выходу через приемный покой. Наверное, про меня все забыли. А жизнь, их жизнь, шла своим чередом. Каталку подвезли к другой, и маму привычно, равнодушно переложили на простыне два здоровых детины. Потом тот, который стоял в головах у мамы, нажал какую-то педаль, и каталка рухнула вниз, а с ней тело мамы.

Сестра реанимации вытянула из-под мамы застиранную, всю в застарелых пятнах простыню. Может быть, она ее пожалела, эту простыню, может быть, это была собственность палаты интенсивной терапии с инвентаризационным номером, но мама осталась лежать на металлической каталке, превратившейся в носилки, которые тут же впихнули в «труповозку». Все произошло быстро, я был потрясен от увиденного. И ничего не успел понять.

Я только жалею, что не дал в морду этому водителю «труповозки» в тот самый момент, когда он нажал на педаль каталки. И я буду с этим жить.

В очередной раз я твердил себе: «Когда же ты научишься реагировать правильно на обстоятельства жизни и давать им мгновенную оценку? Теперь ты понимаешь, что эта оценка исходит из твоих принципов и убеждений, из твоей веры и твоей принадлежности к священным понятиям, которые нельзя переступать и отменять.

Когда ты наконец поймешь, что жизнь — это хорошо. Но есть вещи, которые выше жизни.

Это верность, служение, достоинство, честь. Если у тебя в доме стоит рояль, а ты не умеешь на нем играть — на кой черт тебе этот рояль?! Если ты имеешь жизнь и не умеешь ею пользоваться, то зачем тебе эта жизнь?!»

После этого ужаса я ехал сзади на своей машине и от слез едва различал дорогу. Ехавшая впереди «труповозка» была покрыта как бы слюдой от слез, которые застилали мне глаза. Она летела как сумасшедшая, какими-то ей одной известными дорогами к моргу. Наконец я потерял ее из виду, но был даже доволен этим. Я знал, где находится морг, и когда подъехал к нему, то маму уже вынесли из машины и внесли в здание морга, стоящее отдельно от больницы. Я вошел в одноэтажное здание и спросил доктора:

— Я могу вас попросить не вскрывать Седогинову, мою маму, ее только что привезли?

— Не положено. У нас для всех без исключения проводятся исследования.

— Дело в том, что мама была верующим человеком. А это оскорбление чувств верующего.

— Какие чувства, ей уже все равно.

— Это неправда, мама все видит и слышит. Я документ, справку привез, вот, подписано главным врачом медсанчасти Кондратьевым.

— А-а-а, тогда хорошо, хорошо. Нам меньше работы.

Я вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха.

Мама очень боялась вскрытия и неоднократно говорила об этом. Она всегда рассказывала папе о том, как однажды человека, погибшего в автокатастрофе, из морга отдали родственникам в гробу, а потом, на другой день, нашли в морге под столом его руку. Куда ее девать? Тело, которому она принадлежала, уже похоронили. Тогда руку засунули в живот другого тела, которое по случаю вскрывали на этом же столе, и зашили: ему же все равно, этому телу.

Маму помыли и одели в одежды, которые привезла сестра. А на ночь маму уже в гробу привезли в храм, наш храм. И я готовился остаться с ней на всю ночь, чтобы вычитать Псалтирь.

Время разделилось на отрезки. Полной картины в моём сознании не существовало. Один отрезок был ярче, другой тусклее. Но это были только отрезки, которые выхватывало созна-

ние из как будто замедлившегося хода жизни. Мама стояла у канона против распятия. Вечерняя служба продолжалась. Я находился в алтаре и ждал, когда допоют и дочитают последние молитвы, все разойдутся и я начну заупокойную панихиду.

В храме было особенно тихо. Люди сочувствовали мне, поддерживали словом, взглядом. К моему удивлению, после отпуска никто не ушёл. Когда я вышел из алтаря с кадиллом и направился к канону, то увидел, что все стоят с зажжёнными свечами — остались, чтобы помолиться вместе со мной у гроба моей мамы.

Слез не было. Покой вошел во все мое существо. Я читал девяностый псалом, совершал каждение и думал о том, сколько людей за свою священническую жизнь я отпел. Теперь пришла очередь той, которая дала мне жизнь. «Да молчит всякая плоть человека», — пронеслось в моей голове, и я ощутил пустоту и одиночество. Её тело было успокоено. Это было другое тело, из которого ушло тепло, ушла жизнь. Оно было холодное и чужое. Прикосновение к нему было пугающим. Совсем недавно родное тепло исходило из этих рук и согревало участием и заботой. А теперь тело окоченело и застыло, всё в нём было овеяно присутствием смерти. Дальше мысль останавливалась. «Да молчит всякая плоть человека».

Люди расходились, скорбно поглядывая в мою сторону. Храм опустел.

Я вышел на улицу и увидел вдалеке Веру, которая сейчас же спряталась за близстоящее строение школы. Я смотрел в её сторону и ждал, когда она выглянет. Через минуту Вера по-детски высунулась из-за угла. Я сделал ей знак рукой. Она, застигнутая врасплох, пошла ко мне.

— Простите меня, — говорила Вера, подходя ближе, — я очень испугалась всего происходящего. Я испугалась за вас. Как вы себя чувствуете? Вы будете здесь ночью, мне сказали?

Она вглядывалась в моё лицо и говорила, говорила:

— Вы очень переживаете, конечно. Я знаю, знаю, как больно, когда отец или мама умирают. — Вера была взволнована и как бы не в себе. — Как же вы будете здесь один? Я пришла, чтобы быть с вами. Вы разрешите побыть с вами, ночью, когда вы станете молиться?

— Нет, Вера, что вы, — остановил я её, — я должен быть с мамой наедине. Это последняя ночь, когда я могу что-то ещё успеть сделать для неё.

— Я понимаю, понимаю, — говорила разочарованно Вера. — Но, может быть, вы голодны, а я принесла вам чай в термосе и бутерброды. Вот, — она протянула мне сумку.

Я хотел отказаться. Но Вера предлагала с такой нежностью и заботой, что я взял пакет, зная при этом, что он мне не пригодится.

— А можно мне завтра прийти? — спросила Вера.

— Приходите.

— Берегите себя, — сказала Вера, взяв меня за руку, — вы мне очень дороги, я вас очень люблю.

Она развернулась и побежала прочь.

Темнело стремительно. Вечер был тихий, не шевелилась ни одна ветка. Покой царил в природе и в моей душе.

Я вошел в храм, где лежала моя уснувшая мама, запер дверь, включил дежурный свет. Стояла пронзительная тишина. Лики икон смотрели со всех сторон торжественно и бесстрашно. Я остановился и почувствовал, как по полу потянуло холодом.

Надо читать, читать и ни о чём не думать. Маме нужна молитва.

Я ходил по пустому храму, каждый шаг по плиточному полу гулко звучал в пространстве. Я поставил аналой, большой подсвечник, зажёл свечи и открыл Псалтирь.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, — начал я громко...

Поздно ночью, около трёх часов, в железную дверь храма постучали.

Пришли матушки, чтобы подменить меня в чтении.

Отпирая дверь, я сказал, что Псалтирь вычитал до конца.

— Ну мы почитаем сначала, сколько успеем до службы, благословите нас.

— Бог благословит, — сказал я и перекрестил их.

Они дали мне ключ от квартиры, где я должен был перед службой отдохнуть.

Пока я одевался в алтаре, они начали чтение. Я подошел к маме, перекрестился и поцеловал её холодную руку.

— Благодарю вас, что вы меня поддерживаете,

— сказал я провожавшей меня схимонахине Алипии.

— Благодать, батюшка, благодать, — говорила матушка.

На улице было по-весеннему прохладно и пустынно. Дом, в котором жила схимонахиня Алипия, находился рядом со строящимся храмом.

Я открыл дверь и вошел в маленькую однокомнатную квартиру. За перегородкой была постелена чистая постель, положено полотенце.

Я лег, не раздеваясь, и мгновенно заснул.

Утром совершал литургию. Народу собралось много. Среди прихожан храма у гроба стояли брат и сестра, мои дети. Приехал мамин старший брат Михаил, с которым наша семья почти не общалась, другие родственники. Все они слились для меня в невнятную массу, смешавшуюся с текучим, как резина, временем. Фигуры в черных одеждах и скорбные глаза. Мелькнуло лицо Веры.

Служба была особенная. Глубина Божественной литургии постигается в такие минуты, когда Бог нераздельно близок. Я молился каждым словом древнего текста и чувствовал невидимую душу мамы, которая была здесь, рядом с нами.

Приехал отец Александр, вошёл в алтарь, молча положил три земных поклона престолу, приложился и обнял меня, сухо сказав:

— Держитесь.

Отец Александр был моим учеником. Ездил со мной в деревни, в которые меня посылало церковное начальство, помогал. А потом принял решение стать священником.

Я попросил его вчера возглавить чин погребения. И он не отказал, приехал.

— Благословите исповедовать людей, — обратился ко мне отец Александр.

Я согласился.

Причастников было на удивление много.

После отпуска народ расступился, маму перенесли и поставили напротив алтаря. Облачился отец Александр, и мы вышли к гробу.

При виде скорбных лиц людей, слез в глазах сестры и Веры горловой спазм душил меня и неуправляемые слезы наполняли мои глаза всю службу отпевания.

Потом потянулась процессия на кладбище,

люди из храма не оставили нас, шли за медленно идущей машиной. Затем у края могилы совершились лития и прощание. Казалось, что это никогда не закончится, потому что в груди поселилась тупая боль и уже не отпускала. Подождать я увидел младшего сына, который глядел на меня, и слёзы текли по его щекам. Дальше стояла Вера и пристальным взглядом глубокого сочувствия не отрываясь смотрела в мою сторону. Это было просветление моего сознания, которое как бы искало опоры и, находя, продолжало существовать.

## Маккена

Маккенский позвонил вечером. В голосе слышались нотки человека, очень довольного собой, благодушного, снисходительного. Он говорил неторопливо, с глубоким чувством собственного достоинства. Это был голос значительного, большого человека. И ты должен был понять это сразу. Почувствовать всем существом, до робкого холодка в позвоночнике. Скольких людей приводил в панику этот голос? Можно было только догадываться. Но обладатель этого голоса ловко, артистично манипулировал им. Это была игра. А может быть, это была жизнь. Сам хозяин голоса уже не отличал, где жизнь, а где игра. Его возможности позволяли ему не жить в привычном смысле этого слова, а лететь над жизнью. И он привык к ощущению полета. И еще в голосе слышался запах дорогого парфюма, приспущенного галстука и коньяка высшего уровня.

Он обращался ко мне на «ты» с первой фразы.

— Вечер добрый, — послышалось в трубке. — Ты можешь не вспомнить, но я сейчас постараюсь объяснить, кто я. Э-э... Меня зовут Маккенский Борис Николаевич. Я вице-президент Александровского банка Москвы. Не знаешь меня?

— Простите, нет.

— Мне твой телефон дал Пыжов Сергей Иванович.

— А, Сергей Иванович Пыжов?..

— Да, Пыж. Мы когда-то тренировались вместе. Ты постарше нас на три-четыре года. Признаюсь, мы восхищались тобой. Ты был уже

звезда, а мы только подрастали. Меня звали Маккена, не помнишь такого?

И вдруг в моей голове возникла картина. Спортивный комплекс, зал, ринг... Соревнование по боксу. Может быть, первенство города. И на ринге мальчишка из нашего клуба с именем Маккена. Длинный, в белых трусах и красной майке. Худой, но немного трусливый на ринге. Про таких говорят «не боец». Мы сидим с ребятами на балконе и кричим это удивительное имя, болея за наш клуб:

— Маккена, Маккена, Маккена...

— Да, я помню прекрасно. Это имя, Маккена, прямо звучит в моей голове, — оживленно заговорил я. — Благодарю вас, что вы мне позвонили и напомнили счастливое время нашего детства. Но что у вас случилось? Нужна помощь священника?

Макенский был доволен, что я так быстро вспомнил его.

— Ты правда помнишь меня?

— Вспоминаю зал, по-моему, «Спартак». Главного судью Волкова и тебя на ринге. Город — по-моему, первенство города.

— Точно. Молодец, уважаю, — он довольно засмеялся. — Я завтра приеду. Звоню тебе из другого города. У мамы годовщина в этот день. Ты сможешь со службой?

— Конечно.

— На кладбище.

— Ну что ж, погода позволяет. Отслужим.

— Мама умерла год назад. Похоронил там, на нашем кладбище, вместе с отцом. Отца нет уже четыре года, — он вздохнул. — Знаешь, тяжело терять близких. Особенно мать.

— Я понимаю, моя мама умерла совсем недавно.

— Ах, вот как? Недавно.

Мы помолчали.

— Мне Пыжов сказал, что ты строишь храм. Сколько раз проезжал мимо твоей стройки и не знал, что это Седогин строит. Я тебе денег привезу завтра. Давай, пока.

И он положил трубку.

— Вице-президент Александровского банка Москвы, — вслух произнес я. — Это хорошо.

Время было позднее, я помолился и лег в постель.

— В рuce Твои Господи, предаю дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Но сна не было. Я поворачивался с боку на бок. Тело устало за сегодняшний день, и хотелось уснуть, чтобы восстановить силы перед завтрашним трудным днем. На душе было тревожно. Я думал о маме. Её похоронили. А мир продолжает жить прежней жизнью. Казалось, что в нем ничего не изменилось. И так происходит всегда. Приходит и уходит человек, и кажется, что его никогда не было. Уйду когда-то и я, и тоже всё будет, как прежде, существовать, а меня уже не будет среди всего этого многообразия жизни. И только кратковременная память молитвенно хранит образы любимых людей и воздает за них в алтаре «бескровные» жертвы, принесенные к Богу.

Сон не приходил. Тогда, поднявшись, я сел за письменный стол и щелчком включил лампу. Буду писать ему.

«Дорогой мой сын. Когда моя мама, Александра, Царство ей небесное, и твоя бабушка вдруг заболела, я не помню тебя около себя. Видимо, я тебя жалел. Ты еще так молод. Но зато похороны я буду помнить всегда.

Маму пришлось проводить много народу на кладбище. Но я никак не мог сдержать слезы. Душа моя разрывалась, комок подступал к горлу, и рыдания душили меня. И в толпе, поодаль, я увидел тебя, в этот самый момент моей слабости. Ты видел мои слезы и плакал вместе со мной. Это были слезы твоего сердечного сострадания мне. Я никогда этого не забуду. Я понял, насколько глубоко ты сопереживаешь. Нет, ты плакал не из-за бабушки, потому что она не воспитывала тебя и у вас не было таких уж близких родственных отношений. Ты жалел меня. Я всегда, всегда буду помнить эти твои слезы жалости и сопереживания моему страданию. Человек, внутренний человек, то есть настоящее содержание личности, проявляется как раз в трагические минуты жизни. Начинает звучать его сердце. Выходит наружу «сокровенное сердца человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа», так сказал апостол Петр о женщине. Я почувствовал, что ты, несмотря на все наши разногласия и ссоры, по-настоящему

любишь меня. Господи, помоги мне никогда не забывать этого при общении с тобой!

Я хочу написать тебе несколько слов о твоей бабушке.

Она родилась первого апреля. Представляешь, в наше время это был праздник лжи. Люди были самими собой. Им не нужно было скрываться и прятаться, как они делают в остальные дни года. Они просто были самими собой. Это была подлинная мистерия, или карнавал эпохи Франсуа Рабле, когда устраивались праздники дураков или праздник осла. Этот день, первого апреля, давал совершенно иной, подчеркнuto неофициальный, внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений. Сейчас я этого в жизни общества в отношениях между людьми совсем не наблюдаю. Кроме вульгарности и пошлости, а также гомерического хохота. А между тем «первого апреля — никому не веря» люди как бы строили по ту сторону всего официального, всего наносного второй мир и вторую жизнь, к которым, как в эпохи Средневековья и Возрождения, они были в большей или меньшей степени причастны. В которых они в определенные сроки (мистерий и карнавала) жили. Это была особого рода двумерность. Она касалась жизни общества, которое жило в состоянии дозированной лжи. Эта жизнь затрагивала и отдельного человека, который проживал ее как захватывающий детектив, находясь в состоянии лжи не только по отношению к людям, но и по отношению к самому себе. В этот день мистерии и карнавала родилась твоя бабушка. Я думаю теперь, что это определило ее судьбу. Она всю жизнь была борцом за правду и за настоящее, подлинное движение души. При ней невозможно было кривляться или играть, быть гордым и тщеславным. Она всегда поставит на место. Часто она говорила мне, увлеченному искусством, словами Станиславского: «Вы любите не искусство, а себя в искусстве».

Почти не имела друзей, не праздновала дни рождения. Не любила. Не любила также и веселый и никуда никогда не ходила. Особенно вторую половину своей жизни. В конце говорила: «Всю жизнь прожила среди дураков», — так, видимо, она называла нас, своих близких. Или, может быть, имея в виду день первого апреля,

когда творились мистерии — «праздник дурака» и «праздник осла». И ушла она в этом же месяце, апреле, только тридцатого числа, прожив восемьдесят два года».

Заворочался ключ в замочной скважине, и дверь потихоньку начала открываться, предательски заскрипев. Пришел Иван. Я взглянул на часы. Два пятнадцать ночи. Я вытянул из розетки вилку, и свет настольной лампы погас. Осторожно дошел до кровати, прилег и затих. Слава богу, он дома. Тревога ушла. Допишу потом. Я могу спать.

### Вера и жизнь

— Я принесла то, что вы просили. Получилось ещё восемь страниц.

— Благодарю вас, спасибо. Вам понравилось?

— Да, мне все понравилось. Это будет настоящая книга. Я так хочу, чтобы вас читали, чтобы вы скорее закончили и все узнали то, о чем вы пишете. Потому что это очень, очень важно.

— Я вам благодарен за помощь. Я бы не справился один с этими техническими сложностями.

— Ну что вы, мне это совсем не трудно. Тем более что я не работаю. И времени у меня предостаточно. Пишите скорее. Так хочется уже это все напечатать, — она сказала с каким-то детским азартом, — только знаете, на меня ваши рукописи, ну, которые я печатаю, оказывают воздействие.

— Это, слава богу, хорошо, — обрадовался я, — это означает, что написанное мной волнует. В этом материале есть художественность.

— Это конечно, но я хотела сказать, что это оказывает на меня воздействие не как на читателя, а как на человека, понимаете?

— А как можно разделять читателя и человека? — удивился я. — По-моему, читатель и человек — это одно и то же лицо. Разве не так?

— Нет, это не так, — она подыскивала слова. — Читатель, он прочел, что-то ему понравилось, что-то не понравилось, но он прочел — и все. А человек, ну в данном случае я, воспринимает это по-другому.

— Как это по-другому?

— Он погружается во все это и переживает, и

эти переживания не оставляют человека ни днем ни ночью. И он думает о том, как автор может со всем этим жить и как ему не больно и не страшно все это носить в себе, понимаете?

— Понимаю...

— Нет, вы не понимаете, — она возвысила голос и начала говорить взволнованно, — я такой жизни никогда не знала. До самого окончания института я была самым счастливым человеком на свете. Я могла радоваться как ребенок всему, что меня окружало. Я, конечно, ничего не видела. Я даже могла заблудиться в своем собственном городе, потому что мама нас с сестрой очень любила и все нам позволяла, но мы никуда не ходили. Я знала свою улицу с магазинами, школу и походы с мамой на рынок и больше ничего. А теперь, через вас, я узнала жизнь других людей и поняла, что ничего светлого, хорошего в ней нет. Одни страдания, мучения. Скажите, почему это все происходит?

— Таков удел священника, — ответил я, не глядя на ее лицо. — Видеть жизнь с той стороны, с которой люди не могут ее видеть. Старость, одиночество, страдание, болезнь, смерть.

Я взглянул на нее. Она смотрела на меня широко раскрытыми печальными глазами, в которых стояли слезы.

— Но я не хочу такую жизнь.

— Вера, простите меня. Я не буду давать вам свои листочки...

— Нет, нет, что вы, — она ладошками вытирала слезы, — я не это хотела сказать. Вы меня не поняли.

— Я думал, что вы уже большая.

— А какая же я, когда мне уже двадцать три года?

Я улыбнулся, видя ее решительность.

— Большая в том смысле, что вы уже понимаете весь трагизм жизни.

— Я понимаю, понимаю. И я готова преодолеть, — она спешила прояснить ситуацию. — Простите меня, что так много времени у вас оторвала, и простите мои слезы. Ладно? Я буду ждать ваши рукописи каждый день. Вы только пишите. Благословите меня.

Я перекрестил ее и положил руку в ее теплые ладошки. Она коснулась ее горячими губами и крепко сжала мою кисть. На мою запястья упала капелька её слез.

— Я пошла, — сказала она, приподняв голову.

— Идите, Вера.

Она сделала несколько шагов, остановилась и, повернувшись, сказала:

— А можно вас попросить?

— О чём?

— Не называйте меня на «вы», пожалуйста.

— Хорошо, Вера.

— Ведь вы же Бога называете на «ты»?

— Да.

— Что же вы меня, соринку, называете на «вы»?

— Ты не «соринка», Вера, ты удивительно красивый человек.

— Правда?! — Вера даже подпрыгнула от радости. — Вы это мне правду сказали?

— Истинную правду.

Улыбка не сходила с её уст.

— Так не хочется от вас уходить. Бабушки говорят, что вы благодатный. Я сначала смеялась, не понимая этого, а как это подходит вам. А теперь очень даже понимаю и с ними согласна. Берегите себя.

Она повернулась и торопливо пошла.

— Вера! — крикнул я вдогонку.

Она встала как вкопанная.

— Ты забыла про листочки.

Я вручил ей новые свои записи, и она убежала.

### Растленная простота

Это была молодая женщина лет тридцати пяти. Добротой светилось её лицо. Когда она смотрела в глаза, выделив вас из толпы, казалось, она хочет сказать что-то приятное, радостное, что-то важное, сокровенное открыть со всей искренностью своей души. Вам и только вам, прямо из глубины своего измученного сердца. А когда видела в чьих-то глазах сочувствие, спешила навстречу, застенчиво и блаженно улыбаясь. Это можно было бы назвать предельной простотой кроткой русской женщины, несущей во всем своем существе Истину Христову. О таких сказал ученик Христа апостол Петр: «Сокровенный сердца человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Красоте незащищенной, стыдливо-застенчивой, по-детски открытой.

Мне казалось, что я знаком с ней. Только я не мог вспомнить, когда и где мы встречались. Что она относилась ко мне как к давнему знакомому — не было никаких сомнений. Она смотрела на меня, ласково и приятно улыбаясь. Так, как смотрел бы родной человек, только вчера простившийся со мною после веселого продолжительного общения. Я не думал о ней, не копался в своей памяти. За двадцать лет священнической деятельности большое количество людей обращалось за помощью. Все они рассказывали сокровенные подробности своей жизни, которые можно поведать только очень близкому человеку, рассчитывая на добрый совет и утешение. Вскоре я забывал их. Носить в себе то, что открывали люди, было бы тяжелым бременем. Таинство священства защищает человека-священника. Он как бы состоит из двух сущностей: одна психологическая, душевная, другая — таинственная, мистическая, связанная с божественной благодатью Духа Божьего. И там, во второй сущности, как в большой комнате, похожей на архивное помещение со множеством полок, располагаются судьбы людей, открывшиеся в таинстве исповеди. От этой комнаты есть ключи только у посвященных в тайну жизни человека. В эту дверь может войти Бог или священник, который явился свидетелем приоткрывшейся жизни. Он непрерывно молится перед Творцом, пребывая в таинстве. Эта жизнь в молитве сокрыта от глаз людей. Но она более реальна, чем внешняя жизнь, похожая на иллюзию или затянущееся сновидение. В ней тьма и свет, как две половинки зеркала, отсвечивая, бросают на души яркие блики, то лоснящейся бездной, то сверкающим нетварным Божественным светом. Тайна священника заключена в том, чтобы, находясь на границе жизни и смерти, света и тьмы, времени и вечности, указать человеку путь к спасению души.

Потом приходили другие люди и приносили свои заботы и тайны. И, бывало, на улице, при случайной встрече, кто-то приветствовал меня радостной улыбкой и благодарным взглядом. Я приветливо отзывался:

— Как вы поживаете? Все ли у вас налажилось в жизни?

Получал ответ с поклоном.

— Спасибо вам, все хорошо.

А я не мог вспомнить обстоятельств, при которых узнал встретившегося мне человека, хотя лицо его было знакомо...

Она часто во время богослужения подходила ко мне со спины и осторожно касалась меня своей рукой. Прихожане «шикали» на нее. Они терпели ее беспорядочные передвижения по храму, громкий разговор перед иконами, у которых она останавливалась. И только иногда во время службы, когда кто-то из пожилых бабушек делал ей замечание или даже физически воздействовал на нее, она возвышала голос, срываясь до крика:

— Что вы все лезете ко мне? Оставьте меня в покое!

Но при этом была удивительно послушна. Если в момент ее раздражения на бабушек я смотрел на нее, она ретировалась, виновато улыбаясь и показывая мне жестом, что больше никакого шума не будет.

Ее можно было бы отнести к юродивым, блаженным, странным. Вообще к больным людям, которых в дореволюционной России, да и в СССР, было множество возле храмов и монастырей. Их народ жалел и любил. Ее можно было бы охарактеризовать словосочетанием «святая простота», если бы не одно обстоятельство. Она всегда была пьяна. Будь то раннее утро, которое в церкви начиналось с чтения Богослужбных часов, перед Литургией или вечер, когда служилась Вечерня. Она приходила в том «блаженном» состоянии, которое, как ей казалось, и является настоящей радостью. На самом деле это была подмена подлинного духовного блаженства в присутствии Божества на добровольное подчинение себя одурманивающему действию алкоголя.

Святая простота — феномен, встречающийся нередко среди русского народа. Даже слабоумие в сочетании с сердечной добротой, вот, пожалуй, его точная характеристика. В ней же была растленная простота.

Ее появления в храме были навязчивыми, и я видел, что они раздражают многих. Но мое отношение к ней не изменялось. Я жалел ее. Обычно она пребывала в храме недолго, до того момента, когда кто-то из прихожан не «обидит» ее. Она уходила и в этот день уже не возвращалась.

Однажды она пришла утром не одна. С ней был молодой парень, которого она, похоже, насильно затащила в храм и толкала его, заставляя подойти к иконам, поставить свечи, обратиться ко мне.

Он упирался и в своей строптивости напоминал большого подростка, которого родители заставляют быть послушным. На вид ему было лет двадцать пять. Бросались в глаза крепкая, атлетическая фигура, сильные руки с крючковатыми пальцами и коротко подстриженными, обгрызенными ногтями. Узкий лоб и серые маленькие глазки, в которых не было ни одной мысли, дополняли портрет. Он был пьян, как и она.

Ее толчки уже напоминали потасовку в храме. И кто-то опять не выдержал и сделал замечание. И тогда молодой человек вылетел в дверь, за ним, бросив несколько громких фраз в сторону прихожан, вышла она.

На следующее утро они появились вновь. По храму прокатился шумок. Я стоял за аналоем и вел беседу с исповедником. Она подталкивала спутника ко мне. Я заметил, что они, как и вчера, были пьяны. Она подвела его без очереди, встала за ним вплотную и, загородив всякое отступление назад, что-то шептала на ухо. Когда я взгляделся в ее лицо, то обнаружил свернутый набок нос — результат сокрушительного удара кулаком по лицу, отчего оно погрубело, потеряло невинность и прежнюю целомудренно-блаженную привлекательность. «Как жаль», — подумал я.

Когда от меня отошел исповедник, поцеловав Крест и Евангелие, она придвинула его ко мне вплотную.

— Исповедуйся, исповедуйся, — настойчиво, пьяно шипя, говорила она ему в самое ухо.

Я попросил ее отойти в сторону. Она послушно отступила и молча переводила взгляд то на меня, то в пол. Я понял: случилось что-то серьезное.

— Как твое имя? — обратился я к этому пахнущему перегаром и потом существу.

— Петя, — ответил он, как подросток.

— Петр, — твердо поправил я и спросил: — Ты пришел исповедоваться?

— Да, — храбро произнес он и вызывающе взглянул мне в глаза.

«Пьяному и море по колено, не то что страх перед исповедью», — промелькнуло в моей голове.

— Наклони голову, — попросил я его.

Он продолжал стоять прямо.

— Наклони голову к Кресту и Евангелию, а я накрою тебя епитрахилью.

Я поднял епитрахиль, накиннул ему на голову и с силой, но осторожно нагнул ее.

— Покаяйся, в чем ты согрешил, — тихо сказал я.

Он прокашлялся и хрипло произнес:

— Я человека убил.

— Человека убил? — с тревогой переспросил я и взглянул на нее.

Она, встретив мой взгляд, заговорщицки кивнула и стыдливо опустила глаза.

— Да, человека убил.

— А ты заявил об этом в полицию?

— Нет.

— Понятно, — сказал я и стал слушать дальше, но Петр молчал.

— А при каких обстоятельствах ты это сделал? — осторожно спросил я, хотя понимал, что для исповеди это не имеет значения. Ведь я не следователь, не прокурор, чтобы уточнять обстоятельства дела. Он убил, и это страшный грех.

— Его надо было убить, — сухо произнес Петр, как бы прокручивая в голове все случившееся.

— И ты убил?

— И я убил.

Я опять посмотрел на нее, на людей, ждавших своей очереди, которые будут говорить, что грешны «словом, делом, помышлением», а тут такое.

— Знаешь, — сказал я ему, — ты должен прийти ко мне в другой раз, трезвым, понимаешь? Совершенно трезвым. И тогда мы с тобой все обсудим. Я не могу сейчас об этом со всей ответственностью говорить. Ты пил сегодня?

— Пил.

— Вместе с ней?

— Да, вместе, и вчера, и ночью, и утром мы пили.

— Она тебе дорога?

Он кивнул головой.

— Зачем ты заставляешь ее пить? Женщине нельзя пить алкоголь, понимаешь? Ты ее уничтожишь этим. Это ты сломал ей нос?

— Я.

— Зачем ты ударил ее?  
 — Потому что достала.  
 — Ладно. Ты, Петр, иди. Я буду ждать тебя здесь, в храме, трезвым. Договорились? Ты при-  
 дешь?

— Может быть, приду.

Он отвернулся и, качнувшись, пошел наискосок через толпу к двери.

Она побежала за ним.

Подошла следующая исповедница. Накло-  
 нила голову к Кресту и Евангелию, я накрыл  
 ее епитрахилью, а она сунула мне в руку за-  
 писку с грехами. Я надел очки и прочитал:  
 «Гордилась, не соблюдала заповеди, малове-  
 рием, осуждением...», а в конце — «великая  
 грешница Раиса».

«Великая грешница — это уже святая», — по-  
 думал я.

Я читал, а сам все размышлял о них. Зачем она  
 привела его ко мне? Видимо, он ей дорог. Она  
 по-своему любит его и переживает за него. Но с  
 ним нельзя быть после того, что случилось. И  
 потом, это он спаивает ее и бьет. Он пьян. Что  
 может возникнуть в его голове? Что он может  
 надумать после разговора со мной?

На душе стало неприятно. Я постарался об  
 этом забыть.

Служба закончилась. Очередь выстроилась к  
 святому алтарю. На клиросе кто-то из девочек  
 читал молитвы Последования к святому При-  
 чащению. Это была Аня, одиннадцатилетняя  
 школьница. Она звонким голосом чеканила:  
 «...Смирися и ныне смирению моему: и якоже  
 восприял еси в вертепе и в яслях безсловесных  
 возлещи, сице восприми и в яслях безсловес-  
 нья моя души, и в оскверненное мое тело  
 внити. И якоже неудостоил еси внити, и све-  
 черяти со грешники в дому Симона прокажен-  
 ного, тако изволив внити и в дом смиренныя  
 моя души, прокаженныя и грешныя; и якоже  
 не отринул еси подобную мне блудницу и  
 грешную...»

И якоже не возгнушался еси скверных ея уст и  
 не чистых, целующих Тя, ниже моих возгну-  
 шайся скверных онаы уст и нечистых, ниже  
 мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и  
 нечистейшего моего языка».

Читала серьезно, но невдумчиво, и все так же

серьезно и невдумчиво слушали Аню, и никто  
 не заметил парадокса происходящего.

«Сюрреализм бытия», — пронеслось в моей  
 голове.

## Болезнь Веры

**В**ера заболела и не приходила несколько  
 дней. Моего номера телефона у неё не было,  
 у меня не было ее телефона, связаться с ней бы-  
 ло невозможно. Я часто приезжал на стройку с  
 утра и по несколько раз в день с одним желани-  
 ем — увидеть Веру. Я представлял себе, как она  
 стоит в своем лёгком плашике, подвязанном  
 пояском, и держит в руках белые листочки с  
 текстами моих размышлений. Она пришла ко  
 мне и ждёт только меня одного. Но её всё не бы-  
 ло. Какая-то навязчивая мысль о ней преследо-  
 вала меня. С каждым днём нарастала внутрен-  
 няя тревога. Слово два человека действовали  
 во мне. Один продолжал обычную жизнь, за-  
 полненную службами, стройкой, общением с  
 сыном. Другой думал о Вере и смотрел на обы-  
 денные дела сторонним, холодным взглядом, не  
 углубляясь в происходящее. Казалось, время за-  
 медлило свой бег, и все события этого периода  
 жизни, и встающие на пути люди раздражали  
 этого другого человека. Он хотел только одного,  
 чтобы время шло быстрее, настолько быстрее,  
 насколько это возможно до появления Веры.

Я вдруг понял, что происходящее с моим  
 «другим» человеком начинает беспокоить меня.  
 Эта навязчивая зависимость от Веры, от обще-  
 ния с ней была болезненной и странной. Хотелось  
 видеть вновь и вновь её внимательные гла-  
 за, её заботливую нежность. Пронзительную  
 незащищённость и радостное доверие к жизни.  
 Её открытость, искреннюю прямоту, а главное  
 — её трогательное отношение ко мне, готов-  
 ность сделать для меня всё что угодно. Защи-  
 тить, закрыть от страданий, от боли, от ужаса  
 жизни. Эта готовность читалась в каждом её  
 слове, в каждом взгляде, в каждом жесте. Что  
 это? Я не хотел до времени отвечать на этот воп-  
 рос. Хотелось купаться в этих удивительных де-  
 вичьих энергиях вновь и вновь. «Помнишь ли  
 ты слова, — скорее утверждал, чем спрашивал  
 мой «другой», — немецкого писателя, кажется,

Гессе: «Человек обнимает Бога, а когда открывает глаза, в объятиях находит женщину»? «Какая ересь!» — сам себе удивлялся я.

Веры не было уже четыре дня. Приехав в очередной раз к храму и не увидев её, я деловито обошёл площадку, оглядываясь по сторонам, поговорил с Тихоном Антоновичем, сделал некоторые распоряжения и уже направлялся к машине, когда ко мне подбежал школьник.

— Вам велели передать, — сказал мальчишка и, сунув файлы с листочками, заторопился прочь. Я не стал окликать его, так как понял, что это весточка от Веры.

Я сел в машину, закрыл дверь и стал извлекать из хрустящего файла листочки. Из вороха бумаг выпал маленький, мелко исписанный листочек. Это была записка от Веры, в которой она сообщала о своей болезни, извинялась за долгое отсутствие. И ещё она просила о встрече через два дня, вечером, в саду известной больницы: «Вечером там безлюдно и можно спокойно поговорить». При этом она просила, чтобы я пришел «в светском платье». Ещё была строчка, наглухо замазанная чернилами. И приписка: «ваша Вера».

Я обрадовался этой записке с неуверенным почерком Веры.

### **Кровь**

**Д**орогой мой мальчик! Вчера приезжал модный публицист Проханов. Пошел послушать. Публика пришла соответствующая. Националисты. Мужчины и женщины. В книжном магазине с большим отделом православной литературы, историческим отделом, со множеством книг о русских и советских военачальниках, пронациональные публицисты Олег Платонов и другие. На стенах портреты Жукова, Суворова, Кутузова, императора Николая Второго и другие. Прижизненные портреты Григория Распутина и «икона» царя Ивана Грозного, канонизированного не церковью, а теми же националистами.

Стулья поставили в зале магазина, рассаживались долго. В воздухе царил атмосфера избранничества, посвящения в «мы, русские» и сплоченная враждебность, готовность сейчас выступить против врагов видимых и невиди-

мых. Презентовалась книга гостя «Русский». Роман с названием более публицистическим, чем художественным. Название — призыв, манифест, программа.

Когда вошел автор, все возбужденно зааплодировали. Организатор встречи, Сергей Ястребов, директор и хозяин книжного магазина, живущий в деревне и не пускающий своих детей в общеобразовательную школу, чтобы не заразились духом времени. Он платит зарплату учителям, которые приезжают к нему в деревню, чтобы учить его детишек под строгой цензурой отца. Тоже избранники из «русских». Советовал учить китайский вместо международного языка английского, потому что Китай будет довлеть в мире. В церковь не ходит. Но роль церкви в истории России не отрицает. Говорит снисходительно, похлопывая церковь «по плечу». Провинциально-услужливо бегал по залу магазина, демонстрируя бурную деятельность и причастность к чему-то большому, великому.

Модный публицист говорил о державности России (державном, имперском сознании). О Киевской Руси, Московском Царстве, романовской России, сталинской империи и, может быть, грядущей державе нового президента Путина. О странной судьбе русского народа среди других народов мира. Об идее инока Филофея «Москва — третий Рим и четвертому не бывать». О Риме, который под своими крыльями двуглавого орла жертвенно объединяет другие народы, живущие в радости и счастье под этим божественным покровом имперского духа.

Все мужчины, собравшиеся на этой встрече, никогда не бывают в церкви, никогда не каются и не причащаются Тела и Крови Спасителя. А когда приходит церковь в их дом, когда случаются трагические события, связанные со смертью близких, они выходят из пространства, в котором пребывает священник, совершая отпевание. Они выходят покурить, обсудить происходящее. Они сурово переживают. Лирика жизни не для них. Это женщинам и бабушкам надо молиться...

И они, как все русское общество, не понимают, что многомиллионные жертвы русского народа, принесенные на престол имперского отечества, коренятся в идеологии бессмертия. Потому что никаким бездуховным патриотизмом и

псевдолюбовью к косовороткам и березкам, полям, ветрам России невозможно оправдать эти кровавые жертвы, принесенные ради единства и благополучия народов, за счет одного народа-страдальца. Что двигало им, народом-мучеником? Вера в вечные, непреходящие ценности правды и истины «Милость и истина сретостеся, правда и мир облабызастеся...». Невозможно объяснить интернациональный долг категориями этого мира. Здесь нужно видение на мир из вечности. Это духовный взгляд, сакральный на события русской истории. Этот взгляд сформировала церковь через Христа Воскресшего. Жертвы, миллионы жертв помрачают наше сознание бесчувственностью и гордыней. А между тем каждый отдельный человек, со своей жизнью и судьбой, страшился, испытывал боль, любил, радовался, плакал, отчаивался. И каждый стоял перед выбором добра и зла, действовал, движимый по таинственному зову крови. Кровь. Вот таинственная сила. Жертвы могут быть осмыслены только идеологией бессмертия. Эта идеология живет в ментальности русского человека. В крови русского человека. Кровь — это важная вещь!

Иоанн Кронштадтский знал, как важна кровь. Он всю свою жизнь причащался Крови Христовой, совершая святую Евхаристию каждый день. Чашу наполнял до краев и потреблял эту чашу Крови Христовой.

Кровь. Она несет не только жизненную энергию по телу, она, пульсируя, несет программы и коды принадлежности к идеологии бессмертия. «Пийи Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем». Пейте, пейте кровь Господа Христа!

И Россия пила эту кровь. За тысячелетнюю историю святой Руси потоки крови текли из жертвенной чаши и напоили русских людей бессмертием, воспитывая их не молоком матери до твердой пищи, а животворящей кровью Агнца, которой приносилась жертва сокрушенного и смиренного духа.

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

«Твоя от твоих, тебе приносящее о всех и за вся» — написано на символической Чаше в память Бородинского сражения в Спасо-Бородинском монастыре. В основании чаши лежат ядра от пушек, убивавших русских воинов, жертвенно приносивших на алтарь Отечества свои жизни. За Отечество и за «други своя».

И не понимают эти «патриоты», что их раздражение и гнев — это падение и осквернение сознания, что никогда истина не придет в дом и не будет царствовать и что это остервенение к врагам уничтожает в их крови фундаментальные основы русского национального сознания, связанного с просвященностью его Истиной, растворенной в крови Агнца.

«Не в силе Бог, а в правде».

«Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастеся. Истина от земли возсия, и правда с Небесе приниче».

«Ибо и Господь даст благодать, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предъидет, и положит в путь стопы своя».

Мы должны стремиться, чтобы нам оказаться участниками Воскресения Христова и, еще находясь в этом теле, перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим, конец — не быть тем, кем он не был. Но важно, для кого человек умрет и для кого будет жить: ведь есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не где-то, а в этом переходящем веке можно обрести и то, и другое. И от того, как мы поступаем во времени, зависит различие вечных воздаяний. Да так и было в представлениях наших предков.

Удивительно, что в крови народа нашего продолжают сохраняться программы и коды идеологии бессмертия. Но мы видим, что они постепенно вытесняются духовной ленью, гордыней и водкой.

## Исповедь Веры

Наступило время нашей встречи в больничном парке. Дни были еще короткими, хотя весна набирала силу. Сгущались сумерки, и становилось прохладно, зябко. В огромном больничном саду находилось несколько специали-

зированных корпусов, соединенных асфальтированными дорожками и пустыми аллеями. Листочки на деревьях стремительно зеленели. Березовые сережки висели гроздьями. Запах свежести был слышен со всех сторон.

Было безлюдно. Я направился к детскому корпусу. В здании вспыхивал желтый свет, а окна третьего этажа светились неоновым светом.

Я поискал взглядом окна гематологического отделения, где лежали Наталия и Илюша, и перекрестил их.

Жизнь в больничном парке замерла. Зажглись на столбах фонари, и я увидел Веру, стоящую у темной стены детского корпуса и наблюдающую за мной.

— Я боялась, что вы не придёте, — вместо приветствия произнесла Вера.

— Здравствуй, Вера, — сказал я и спросил: — Как ты себя чувствуешь?

— Здравствуйте, — ответила она, подходя ко мне, — хорошо, температура нормальная. Вы перекрестили окна, где лежит Илюша с мамой, да?

— Да, они ещё здесь.

— Так страшно жить, когда знаешь, что происходит такое. Когда я читала ваши записи про Илюшу, я плакала. И с тех пор я молюсь за него, — и, остановившись, она спросила меня: — А можно мне молиться за Илюшу?

— Почему нельзя, можно, — спокойно ответил я.

— Потому что я плохая, потому что у меня плохие мысли, а молитва должна быть чистой, — Вера отвернулась и глубоко вздохнула.

Я молча шёл рядом. Её взволнованность передавалась и мне.

— Я вас однажды видела в магазине, одетого, как сейчас, не в священнические одежды, — Вера переменяла тему, — так было странно смотреть. Знаете, бывает, известные стихи какого-нибудь великого русского поэта, переложенные на музыку, без музыки они уже не звучат. Вот так и вы, без ваших священнических одежд выглядите непривычно. Вы прямо срисовались с ними. Посмотришь на вас — так и хочется вас одеть в ваши одежды.

— Зачем же ты просила меня приехать в мирском?

— Чтобы проверить своё впечатление, — Вера засмеялась.

— Проверила?

— Проверила, к вам не подойти, вы какой-то «намоленный», как говорят о вас ваши старушки.

— Ты не замёрзла, Вера? — спросил я и взял её руку — ледяная. — Ты замерзнешь и опять заболешь.

Вера повернулась ко мне, крепко сжимая мою ладонь своими холодными пальчиками.

— Я соскучилась по вам, — взволнованно произнесла Вера. — Без общения с вами, оказывается, очень грустно жить.

— И я скучал по тебе.

Она решительно смотрела мне прямо в глаза, сильнее и сильнее сжимая мою руку. Лицо её было бледное, тёмные волосы, брови и горящий взгляд подчёркивали его белизну.

— С тех пор как я вас увидела, — выпалила Вера, — вы стали моей идеей, моей каждодневной мыслью. Вы должны выслушать меня сегодня, обещайте не наставлять меня в сегодняшний вечер. На вас нет священнических одежд, и вы не можете меня наставлять. Побудьте сегодня простым человеком, мужчиной. Обещайте, обещайте мне это.

«Обними её, — сказал «другой» человек внутри меня, — обними и согрей одинокую, трепетную душу».

— Хорошо, обещаю, — сказал я и свободной рукой обнял Веру за спину и почувствовал её косточки под тоненьким плащом.

— Ты вся дрожишь, ты замёрзла?

— Нет, я не замёрзла, я боюсь, боюсь своих мыслей, — Вера была как в бреду. Мне показалось, что она ещё больна и у неё от болезни изменённое сознание.

— Вера, ты еще не выздоровела, а на улице прохладно...

— Вы обещали, — строго сказала Вера и ещё крепче сжала мою ладонь.

Я привлёк её к себе. Минуту мы стояли молча. Она почти не дышала. Только её сердце колотилось под моей рукой.

— Я вас люблю, — тихо произнесла Вера.

Я сделал движение, чтобы отстраниться от неё, но она прижалась ко мне ещё сильнее и заговорила торопливо, сбивчиво:

— Я вас люблю не за то, что вы очень красивы, а ваши священнические одежды как-то

особенно подчёркивают вашу красоту; не за то, что вы умный и так много знаете и всё можете объяснить, а за то, что вы для меня родной человек. До вас моя жизнь была лишена какого-либо смысла. Неосмысленная жизнь, понимаете? И ещё в ней присутствовал страх. Я была словно неприкаянная. Я не знала, даже когда окончила институт, что мне делать в жизни. Всё, чем я ни занималась, мне казалось не тем. Что-то должно быть другое, большое, настоящее. Я ждала этого настоящего. И потом, когда я к вам пришла, я поняла, что вы мой смысл, что я должна служить вам, помогать вам во всём, всё делать для вас. Понимаете, вы моя осмысленная жизнь.

Она поминутно вздыхала, и было видно, что ей трудно говорить всё это. Но также было понятно, что она тысячу раз высказала все слова в воображаемом разговоре раньше. И вместе с тем, когда она признавалась в своих чувствах ко мне, ей становилось легче. Она перестала дрожать и поглаживала своей ладонью отворот моего пальто. Счастье переполняло её от того, что она может делиться этим счастьем, потому что не делиться им было уже невозможно.

— Я почти уверена, что все мои мысли неправильны, даже преступны. Я не должна так думать. Вы облечены саном. Но то, что я чувствую к вам, не может быть небожественным чувством. Любовь посылает Бог. Ведь так, скажите? — она отстранилась и посмотрела мне в глаза.

«Не пропусти, — сказал во мне мой двойник, — ради этой минуты живёт человек, когда сама любовь заглядывает в его глаза. Она смотрит на тебя с такой открытостью, на которое только и способно это чувство. И если бы можно было умереть в эту минуту, то ты бы умер, унося с собой этот бесценный дар, который бы тебя соединил с Богом. Но ты слишком мелок для такого великого чувства, поэтому ты не умрёшь, а будешь жить, как живут все другие люди, теряя во всё новых и новых желаниях и привязанностях чувствительность к истине».

Вера смотрела на меня несколько секунд. Мне они показались долгими. Это были секунды, которые остаются в тебе навсегда, потому что открывается человек во всей своей потрясающей красоте.

«Это уже было со мной в каком-то месте, где-то на свете», — мелькнуло в моей голове. — «Почему же ты ещё не умер, почему ты не ушёл в лучший мир, однажды пережив это?»

«Потому что ты жалок и мелок», — настойчиво повторил мой двойник.

— Вера, да, Бог посылает любовь, — сказал я тихо и почему-то добавил: — а любовь призывает смерть.

Вера отстранилась от меня.

— Какие страшные слова вы говорите! — крикнула она. — Зачем, зачем я вас узнала! Я никогда не думала, что жизнь так ужасна. Не представляла, что так страдают люди, даже дети, которые должны быть счастливыми и испытывать только радость от этого счастья. Страдают матери. И вы весь этот ужас носите в себе, живёте этим ужасом жизни и описываете его. А я не хочу, не хочу, чтобы люди умирали. Чтобы весь этот ужас и смерть бросали тень на любовь, на рождение детей, на радость жизни...

— Я не об этом хотел сказать, Вера, — перебил я её, — я только хотел сказать, что у любви, как и у дружбы, есть болезнь, которая уничтожает её. У дружбы — зависть, а у любви — ревность. Эти болезни — плоды человеческих чувств, человеческих переживаний, не божественных. Возникшая любовь пытается себя защитить и сохранить для вечности и поэтому призывает смерть.

— Я вас не понимаю, объясните! — Вера не сводила с меня глаз.

— Человеческая любовь сильна, имеет большую энергию. Она жаждет обладать тем, кого она любит. Она испытала переживание слияния с любимым, которое привело её в состояние полного восторга. Она понимает, что большей близости и большего счастья не существует между людьми. И она переживает состояние абсолютного единства, словно две души сливаются и начинают существовать в одном теле. Она жаждет обладать настолько, что не хочет отпускать от себя любимого ни на одну минуту, из страха, что кто-то третий может прогиснуться между двумя любящими и разрушить блаженство. Испытав это однажды, человек просто не может жить дальше. Он должен умереть, не обязательно физически, он должен умереть для мира, для новых желаний и новых привязанностей.

— С этим я согласна, — перебила меня Вера, — но почему это только человеческая, а не божественная, как вы сказали, любовь?

— Потому что она несовершенна. Преследуя цель сохранить любовь, ревность способна подменить любовь ненавистью. Причём с такой же силой энергии. Поэтому так и говорят: «От любви до ненависти один шаг». Я бы перефразировал: от человеческой любви до ненависти. Понимаешь, Вера, о чём я говорю?

— Понимаю про любовь, а про ненависть не понимаю.

— Возненавидев любимого, человек ищет новой любви, чтобы вернуться в это состояние вечного блаженства. И в новых отношениях происходит то же самое. Но и на этом человек не останавливается. Потеряв любовь, ищет ещё и ещё до момента разочарования в любви. Он говорит, что любви вовсе нет. Это просто болезненный невроз и больше ничего. Но любовь определённо существует. Это некая таинственная, божественная реальность. Человек просто не знает, как в ней существовать, как её сохранить.

— А вы знаете?

— Знаю, Вера, но никому не могу передать эти знания.

— Передайте мне, — Вера опять подпала под влияние моих назидательных размышлений и уже готова была стать прилежной ученицей, но было видно, что она хочет другого — говорить со мной о простых человеческих вещах. — Передайте мне, — повторила она.

Мне тоже стало скучно от моих собственных теорий, но всё же я решил довести мысли до логического конца, в назидание.

— Единственное спасение любви — это церковный брак, в котором человеческая любовь просветляется божественной любовью, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, во всё верит, всё покрывает, на всё надеется и никогда не перестаёт. Иоанн Златоуст где-то говорит, что первая любовь — это дар брака. Дал Бог любовь человеку, надо сочетаться браком и растить любовь в Истине.

Вера молчала. Она как-то притихла.

— Как вы это всё объяснили. Но почему люди так не любят друг друга? — произнесла Вера как-

то отрешенно. Она отпустила мои руки и медленно пошла вперед. Я молча шёл рядом.

«Ты смешиваешь жизнь и теории, которые никогда не пересекаются, — говорил во мне мой двойник, — ты только что заглянул в открывшуюся живую, трепетную жизнь и одним тебе известным способом вероломно закрыл её. И теперь идёшь, наполненный рецептами мудрости на все случаи человеческих отношений, самодовольный и противный. Неужели ты не понимаешь, что жизнь нельзя измерить логарифмической линейкой. Что мысли, высказанные некогда умными людьми, могут быть стереотипами и штампами, которые не только не приближают человека к истине, а, наоборот, отталкивают его от неё? Ты только что уничтожил жизнь».

— Вера, — сказал я, — прости меня.

Вера остановилась. Повернулась ко мне и произнесла:

— Я буду ходить за вами всю жизнь, буду вас ждать, буду вас потихоньку любить. Вы должны знать об этом.

— Прости меня, Вера, — повторил я, глядя в её наполненные слезами глаза.

Она обвила мою шею руками и всем своим худеньким телом прижалась ко мне.

— Не отталкивайте меня, я без вас погибну, — сказала она и побежала прочь.

### Илюшино стояние

Позвонила Наталия. Отчаяние сквозило в ее голосе.

— Лейкоциты на нуле, по всему телу фиолетовые пятна. Приезжайте, мне страшно.

— Хорошо, я сейчас приеду.

В коридорах детской областной поликлиники, которая совмещалась с больницей, толпились люди, взрослые и дети. Я прошел по коридору и услышал, как один мальчик сказал своей маме:

— Боженька пришел.

Я поднялся на второй этаж по пустой лестнице и оказался в гематологическом отделении.

Меня встретила в коридоре взволнованная женщина.

— Батюшка, вы не благословите нашего

мальчика в больницу, в Москву? Мы срочно выезжаем через два часа.

— А где он?

— Здесь, в палате.

Я вошел в палату и увидел мальчика десяти-одиннадцати лет, сидящего на голой кровати с панцирной сеткой.

— Встань, встань! — скомандовала его мама.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Меня зовут Дима.

— Дмитрий, — поправил я и всматривался в его лицо — чистое, детское, очень нежное, с голубыми глазами, припухшими губами и прямым носиком. Благородное личико. И весь мальчик был стройный, красивый.

— Вы знаете, — обратилась ко мне его мать, — он у нас на конкурсе джентльменов занял первое место в школе.

Она угадала мои мысли.

— Так ты настоящий джентльмен?

Он пожал худенькими плечами.

— Едешь в Москву?

— Ну да, — он смущенно посмотрел на маму.

— Давай я тебя благословлю, чтобы все было хорошо.

Я взял в руки наперсный крест и перекрестил его.

— Бог тебя благословит, поцелуй крестик.

Он коснулся креста губами.

— Все терпи, не забывай, что ты джентльмен.

— Спасибо, батюшка, — его мама вышла со мной в коридор, — помолитесь за нашего Диму.

— Что ставят?

— Острый лейкоз.

— Помолюсь, обязательно помолюсь. Дай вам Бог терпения.

— А вы не можете нам дать ваш номер телефона, чтобы мы иногда...

— Конечно, запишите.

Она искала в сумке ручку и бумагу.

— Знаете, так бывает страшно одним остаться...

— Вы звоните, я буду молиться за вашего джентльмена.

Я шел к Илюше и думал, что я увижу сейчас?

Он лежал в своей кровати под простыней, такой же белый, с выцветшими губками. Темные глаза его были открыты, но он ни на что не реагировал. В катетер у ключицы поступала кровь из ламинированного пакета, висевшего

над кроватью. Наташа сидела рядом и держала его ручку, на которой виднелись маленькие сине-фиолетовые пятнышки. Увидев меня, она заплакала.

Я подошел к ним.

— Давайте молиться.

Я совершал молебное пение за больного, коленапреклоненно читал молитвы и все крестил и крестил чью-то кровь, висевшую над Илюшей. Я хотел, чтобы Господь вселил в нее животворящую жизненную силу. Наташа тоже встала на колени, не выпуская руку Илюши из своих рук. Кровь шла по трубкам капельницы коричнево-красная и попадала в сосуды мальчика. Мне казалось, что я видел, как она движется, сперва по большим сосудам, артериям, потом попадает в вены, спешит к капиллярам и питает клетки, которые начинают веселиться, радоваться, наполняясь жизненной энергией новой крови.

Закончив молебен, я ушел, а Наталия осталась стоять. Вечером она позвонила мне и сказала, что мальчик ожил, что врачи удивлены его анализам.

— Слава богу, слава богу, — повторял я в трубку.

### Благотворитель

Заканчивалась первая неделя Пасхи. Я совершал молебен в нижнем храме. Молилось около семидесяти человек. Настроение было праздничное. Певчие пели тропари святым угодникам божьим. Молебен был водосвятный, читались Апостол и Евангелие, молитва на освящение воды.

Я увидел боковым зрением, как в храм вошел мужчина средних лет, крупного телосложения, в костюме с галстуком. Он купил целую охапку самых дорогих свечей и деловито переходил от подсвечника к подсвечнику, возжигая и ставя свечи. По всему храму, у всех икон вскоре горели свечи. Он не крестился. Остановившись, вглядывался быстрыми глазами, расположенными на довольно мясистом лице, в образ и картинно ставил на подсвечник свечи. Было видно, что это руководитель, лидер, хозяин жизни и человек не бедный. На-

род, собравшийся в церкви, он, казалось, не замечал.

Это был Макенский, вице-президент Александровского банка Москвы. Я узнал его не по внешности, а скорее догадался, что это он. Разглядеть в этом широкоплечем, мощном человеке, весившем не менее ста двадцати килограммов, того худенького мальчишку — Маккену (таково было его прозвище), который робко двигался по рингу, было очень сложно. Закончив тайнство, я вышел к нему.

— Борис Николаевич! — я назвал его по имени и протянул руку для приветствия.

— Да, это я, — благостно улыбаясь, протянул мне Макенский крупную, но очень мягкую ладонь. — Узнал меня?

— Узнал, но не по внешности, по-другому.

— Как это, по-другому?

— Большой человек виден сразу, издали.

— Я тебе денег привез, — Макенский полез в боковой карман пиджака и извлек приготовленный конверт. — На, держи.

— Благодарю, — немного смутившись, произнес я, принимая конверт, — нам деньги нужны.

— Молодец, красивый храм получается, русский. Будем помогать по мере возможности, — заверил Макенский убедительно и строго. — Чем собираешься крыть купола?

— «Купола на Руси кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал», — улыбнувшись, процитировал я Высоцкого.

— Это правильно, молодец, — он был доволен не только собой, но, видимо, и мной.

— Я о моей просьбе хочу сказать, — посерьезнев, заговорил Макенский.

— Да-да?..

— Мама умерла год назад. Похоронена здесь. На нашем кладбище. Я приехал из Воронежа и остановился у сестры. Мы сможем завтра на могилке отслужить молебен?

Служить надо было заупокойную службу — панихиду. Макенский не разбирался в обрядовой стороне православия.

— Борис Николаевич, скажите время, я подъеду, как вам удобно.

— Давай встретимся у ворот кладбища в одиннадцать часов дня. Подойдет?

— Договорились. Я буду непременно.

— Хорошо, молодец, Женька. Ничего, что я так тебя, а то тут народ божий?

— Ничего, ничего. Юность — это планета, в которой остается все, как прежде. Мы были открыты, просты, искренни, бедны, и от всего этого мы были счастливы.

— Ты прав, молодец. Ну, давай, давай. А то тут у тебя люди, я вижу.

Мы крепко схлестнулись ладонями и обнялись.

— До завтра, — сказал Макенский с чувством и направился к двери. Я вошел в алтарь и вспомнил о конверте. Посмотрел: в нем лежало сто тысяч рублей.

— Слава тебе, Господи, не оставляешь храм без попечения. — Я положил земной поклон Престолу: — Здравия и спасения рабу твоему божьему Борису со сродниками, а матушке его вечная память.

На следующий день я приехал на кладбище. Весеннее солнце пригревало все сильнее, и дворики могил, украшенные разноцветными яркими бумажными цветами, пестрели по всему кладбищу. Дорожки, присыпанные песком, создавали ощущение чистоты, прибранности, казалось, что ни одна могила не осталась без заботы живых людей. Оградки были покрашены новой краской, около чистых памятников лежали пасхальные яйца, конфеты, кулички. Гнетущая атмосфера погоста исчезала в дни великого праздника Пасхи. Никто не плакал у могил своих близких. Даже матери, похоронившие детей, не сидели у надгробий и не проливали слез, как они это делали в течение всего года. В предпасхальные дни они украшали могилки, а в дни праздника переживали в утомленном сердце то неясное, но устойчивое чувство надежды на скорую встречу, которую обещает воскресший Спаситель, победивший смертью смерть. Это живое чувство причастности к великому событию мировой истории, перевернувшему мир, неискоренимо из сознания русского человека. Он может этого не понимать в полной мере, может быть, не сумеет рассказать, если вы его спросите, для чего он приходит поклониться могилам своих предков. Но чувством он знает, что человек только гость на этой земле и те люди, которые жили здесь прежде него, уже ушли

в другой, более светлый мир, что придет и его черед расставания, но и радостной встречи. Это мироощущение русского человека было бы невозможно без присутствия в мире становящегося смысла — церкви Христовой, которая, существуя в двух реальностях, плывет, как корабль посреди моря житейского, и спасает тех, кто желает спастись. В Европе и Америке в обществе не принято говорить о смерти. Это считается дурным тоном. Неприлично вспоминать о том, что вселяет в человека животный страх. А наши православные святые в один голос восклицают: «Думай о смерти и вовек не согрешишь».

С самого детства я любил эти сладостные солнечные дни таинственного единения людей — живых и мертвых.

Во вторник следующей недели сюда снова будут стекаться люди, чтобы памятью соединиться со своими родными и близкими. Исполнив свои благодарности, они принесут символы своей веры и надежды — крашенные яйца и куличи как напоминание освобождения человека от рабства греха и смерти.

Всенародное шествие на кладбище в Великие дни светлой седмицы от Пасхи до Антипасхи и Радоницы не смогли остановить или прервать ни времена гонений на Церковь, ни идеология социализма и коммунизма, звавшая человечество к «светлому будущему», земному Раю без Христа. Это единственное несанкционированное шествие, которое не нужно было организовывать. Оно рождается и живет в сердцах людей, движимых к разгадке смысла бытия человека. Кладбище в Пасхальные дни — это как раз то место, где проведена черта временного и вечного, где возвеличивается и возвышается всякий человек: раб и владыка, царь и нищий, богатый и убогий — все стоят в равном достоинстве, потому что у Бога нет лицемерия. Но каждый в сознании живых возрастает памятью и верой до масштаба вечности, бессмертия. Теплом и живым единством согреты эти дни манифестации и демонстрации победы жизни над смертью. И даже сейчас, когда в головах и сердцах людей остались только отблески от веры отцов наших, можно почувствовать свободу русского человека, его бесстрашие перед лицом последнего врага человека — смерти. Таких людей нельзя было

поставить на колени, их можно было только уничтожить. Отсюда такие масштабные, кровавые жертвы в двадцатом столетии.

Меня встретила сестра Макенского, и я молча пошел за ней. Его джип с открытым багажником стоял неподалеку от могилы родителей. Небольшая кучка людей находилась в оградке. От нее отделился Макенский и пошел нам навстречу. Каркали вороны, набегал ветер, который то приближал, то отдалял это тревожное карканье.

Мы обнялись. Он был подчеркнуто серьезен.

Служба прошла сухо и сдержанно. Он пригласил меня остаться, помянуть. Я откланялся.

— После Пасхи я тебя найду, — сказал мне Макенский, прощаясь.

Я отправился к своей маме.

Крест из черного гранита на могиле возвышался и звал меня к себе. Я вошел в ограду, перекрестился и поцеловал крест, на камне которого были высечены слова из Никодима Святогорца: «Живи, как бы ежедневно умирая. Скоро пройдет жизнь твоя, как облачная тень перед солнцем».

Я собрал с гробнички серую траву, которая успела высохнуть и запылиться.

— Все идет хорошо, моя дорогая мама. Если ты слышишь меня сейчас, то прошу, помолись за своего внука Ивана, чтобы Господь дал ему силы и чистоту разума.

Я верил, что природа должна взять свое. Не было в нашем роду ни пьяниц, ни убийц, ни казнокрадов...

Отслужив заупокойную литию, я пошел к машине, как вдруг зазвонил телефон.

— Батюшка, отец Евгений, это мама Димы, которого вы благословили в Москву. Помните, в больнице?

— Да-да, я помню вашего джентльмена.

— Помолитесь за нашего Диму, у нас очень плохие дела, — она заплакала в трубку.

— Помолюсь, обязательно. Поусерднее помолюсь.

— А можно мне иногда вам звонить?

— В любое время дня и ночи.

— Спасибо. Помолитесь за Диму.

— Хорошо, поправляйтесь и верьте, что все будет хорошо.

**Убитая простота**

**Я** подходил к храму.  
— Батюшка! — услышал я окликнувший меня голос и оглянулся.

Это была наша прихожанка Анна, старенькая, но живая и все про всех знающая бабулечка.

— Слышали новость? — шамкая губами, спрашивала меня эта маленькая старушка, как спрашивает человек, который хочет сообщить о развязке интересующего всех дела.

— Нет, — с искусственным любопытством ответил я.

— Свету убили.

— Какую Свету? — переспросил я, посерьезнев, но ответ уже прозвучал в моей голове.

— Нашу Свету, болящую.

— Кто тебе сказал?

— Мария Михайловна. К ней приходили следователи, показывали карточку убитой и спрашивали, знает ли она ее. Она ответила, что знает, и рассказала им, что это больная женщина, ходившая в наш храм. Не сойти мне с этого места, она поведала мне, что это настоящее убийство. Под головой, на карточке, она увидела большое кровавое пятно. А следователь вроде проговорился, что на теле убиенной почитай восемь ножевых ранений под грудь, в шею и что по голове проехали колесом легковой машины.

— Неужели это правда? Какой страх и ужас! Мать Божья! — произнес я, оторопев.

— Правда, истинная правда, — мать Анна перекрестилась в подтверждение своих слов.

— Бедная, бедная Света! — я представил эту картину убийства несчастной, и холод пробежал у меня по спине.

— А где это все случилось?

— А вон там — в лесу, — Анна повернулась и, морщинистой рукой поправляя платок, указала сучковатой палкой, с которой никогда не расставалась, в сторону леса, — за крайними заводскими общежитиями.

Это было в двухстах метрах от храма, за больницей, в красивейшем сосновом бору, где я знал каждое дерево и каждый пенек — здесь прошли мое детство и юность. Я вглядывался в кроны качающихся сосен, и картины прошлого проносились в моей памяти.

— Вот в этом лесу ее и убили, — нарушила молчание мать Анна.

— А кто убил? Их еще не арестовали?

— Пока никто ничего не знает, — заговорщически прошепелявила бабушка, — но скоро все будет известно, — заверила она.

Я направился в храм. Все только и говорили об этом убийстве.

Вспомнилось событие, которое случилось в моем детстве. Однажды наш поселок облетела весть о том, что на этом же самом месте, между больницей и третьим участком, около дикой яблони, ночью разбойники сняли часы с женщины. Женщина не пострадала, только сильно испугалась. Я помню свои детские впечатления, как всем было страшно от этого невероятного события и от того, что такое могло произойти в нашем районе. Всех интересовал один вопрос: кто этот человек и как он мог такое совершить?! Как все переменялось...

Три дня назад в храме Светлана тихонько подошла ко мне на исповедь и ласково с улыбкой говорила, почему-то называя меня не как священника отцом Евгением или батюшкой, а по имени и фамилии:

— Евгений Седогин! Это я, Светлана, — она смотрела мне в глаза. — Ты же не можешь меня не помнить?

Она улыбалась широкой, открытой, хмельной улыбкой.

— Ну, вспоминай, Евгений Седогин, — она прикоснулась к моей руке, — ты отпел моих Анатолия и младенца, моего сыночка Александра. На Жуковского, в общеаге. Утопленники, помнишь?

Я внимательно поглядел на нее.

Вся картина полностью предстала передо мной.

...Это было кирпичное пятиэтажное общежитие для людей, которые приехали из деревни работать на тракторном заводе. Комнатки-девятиметровки с общим туалетом в длинном, тесном, плохо пахнущем коридоре, захламленном железными ящиками для картошки, детскими колясками, велосипедами, бельевыми веревками с развешанными на них пеленками. Простые, всегда пьяные работяги-мужчины, а сегодня

трезвые и суровые, стояли рядом с женщинами, своими женами и соседками, у одного из домов и ждали, когда приедет из морга катафалк. И в этой толпе — обезумевшая женщина в черном платке, повязанном просто, по-деревенски. Молодая, по-бабьи крупная, она выла от горя, едва держась на ногах, и ей подносили нашатырь на салфетке, чтобы не потеряла сознание.

Она ждала из морга своего любимого мужа и четырехлетнего сына, которые на ее глазах утонули в реке. Муж был старше ее на тридцать лет. Человек он был серьезный, непьющий, работающий. Она полюбила его, и у них родился сын.

Третьего дня он сидел на берегу с удочками и рыбачил.

Она пришла к нему с четырехлетним сыном и не углядела за ним. Мальчик упал в воду с крутого берега. Муж бросился его спасать. В этом месте, на повороте, сильное течение и водовороты. Ребенка снесло. Отец нырял, разводил руками, искал и, выбившись из сил, утонул сам.

Рядом со мной стояла Светлана — та самая женщина, обезумевшая от горя.

— Ну вот, вспомнил? Это я, Светка.

— Бедная Света, это ты?

— Я, Седогин, — она радостно улыбалась, — ты отпел моих любимых. Я сейчас пойду к ним. Я каждый день хожу, убираюсь и разговариваю, разговариваю с ними. А дай мне пятьдесят рублей — я им цветочки куплю.

Я дал ей денег.

— Пошла, Евгений Седогин.

И она, оглядываясь и радостно улыбаясь, направилась к выходу.

— Может быть, это он ее убил? — подумал я про того парня, который всегда был с ней, — по крайней мере, я знаю его в лицо.

На другой день выяснились все обстоятельства убийства. Мне рассказала о них Клавдия Михайловна, моя верная помощница с самого первого дня строительства храма. Это была полноватая женщина преклонных лет, строгая и категоричная, любившая правду и говорившая ее прямо в глаза. Её русская душа обладала каким-то непостижимым мерилем правильного отношения ко всему. Она не терпела фальши, лукавства и позерства.

— Это правда, говорят, — обратился я к ней с вопросом, — что с такой звериной жестокостью убили Свету?

— Брешут, батюшка, не верьте, — отмахнулась Клавдия Михайловна, — на резвого коня впереди яма приготовлена, — отрезала она. — Когда же они набрешутся-то?! А дело было так: Светка сидела в лесочке с двумя женщинами и одним ухажером из соседнего дома, из общаги. Заспорили из-за пива. Она стала с этим ухажером скандалить и пошла на него с кулаками. А он чем-то тяжелым, по пьяни конечно, проломил ей макушку. Правда только то, что, когда ее приподняли, перевернули, положили лицом кверху, то увидели, что много крови вышло.

— Его арестовали?

— А он и не отказывался. Говорит, что, дескать, хотел ее остановить, потому что она каралась.

— Думаю, он не хотел ее убивать, — заключил я.

— Да, конечно, не хотел. Он до армии был парень очень положительный. А пришел из армии, стал выпивать, нигде не работал. Бес-то он тут как тут, подстерег.

— Знаешь, Клавдия Михайловна, — с уверенностью сказал я, — она искала, где ей умереть, и, по-моему, нашла.

Клавдия Михайловна не поняла меня. А я не стал объяснять, что имею в виду.

— Нашла, а то как же, — возбужденно заговорила она. — Мать от нее отказалась. Она же и день и ночь пьяная. В квартире наделала пожар, жила в обугленных стенах, срам для молодой женщины, — и, помолчав, добавила, — врачи сказали, что жить ей и так оставалось недолго. Печень разложилась вся, цирроз, — заключила мать Клавдия.

— Хоронить-то на какие шиши, — размышляла дальше Клавдия Михайловна, жалея сразу всех. — Тридцать тысяч нужно для того, чтобы только одеть покойницу. Мать все же дала средства, и соседи подобрали деньжонок.

— Скажи, мать Клавдия, пусть привезут в храм, я ее отпою.

— Хорошо, батюшка, передам, — благослови меня, буду читать у гроба.

Я перекрестил ее. Она добавила:

— Отпой ее, батюшка, сам. Она же наша.

— Наша Света, Клавдия Михайловна, наша... Отпою.

Но мне не суждено было отпеть Светлану и проститься с ней. Утром я ехал на службу, и в машине случился сердечный приступ. Я не годился служить, пришлось возвращаться домой.

Говорили, что лежала она в гробу почему-то в красном платке, спокойная и красивая.

Весь народ пришел проводить ее в последний путь, в нижнем храме было не протолкнуться.

Похоронили ее рядом с мужем и сыном.

### Русский барин

Макенский нашел меня во вторник, на Радоницу. Он приехал вместе с Пыжовым на своем джипе с водителем. Служба отошла. Люди разошлись. Работы в праздник были остановлены. День был солнечный и теплый, один из тех дней, которые наполнены неизъяснимой радостью присутствия живого Бога.

Мы остановились у плит перекрытия, сложенных на стройплощадке, и Макенский попросил водителя «накрыть поляну». Завязался разговор. Мы вспоминали события нашей юности, погружаясь в счастливое, беззаботное время, которое вселяло в нас радость и доверие к жизни. Дорогой коньяк способствовал нашему погружению в прошлое. Макенский наливал и наливал стаканчики, говорил не отстраняваясь, щеки его розовели, было видно, что жизнь его удалась. Он несколько лет был главой администрации города-миллионника, потом — заместителем министра, а вот теперь — вице-президент Московского банка. Доктор наук, за плечами которого два института и аспирантура.

Пыжов был немногословен. Его прошлое научило его осторожности. Он владел в городе сетью ресторанов, казино и боулинг-клубов. Его машину взрывали на автостоянке несколько лет назад, в него стреляли, но он выходил невредимым. Плотного телосложения, большеголовый, с глубоко посаженными глазами, коренастый, он обладал природной силой и был по-мужички здоров. Я вспомнил, как в спортивном лагере на ринге он в боксёрских перчатках ударил сверстника. Тот упал и получил сотрясение мозга. Речь Пыжова была косноязычна, но в этом косноязычии отра-

жалась связь с реальной жизнью, и обороты его речи казались от этого тяжеловесными.

— А мы встретились с Макенским, — говорил он мне. — Ну, чего, стали рассуждать. У меня мать похоронена здесь, на нашем кладбище. У него мать и отец тоже здесь лежат. Я говорю, давай поставим часовню рядом с кладбищем. Он согласился. Пошли к вашему владыке, чтоб благословил, а он говорит: «Часовня не нужна. У вас там храм строится, в нем за людей молятся, и за ваших родителей там будет идти молитва. Вот этому храму и помогите». Так мы к тебе и пришли. Мы тебе поможем. Макенский, поможем?

— Мы тебе построим храм, — твердо сказал Макенский, — давай выпьем за это.

И мы снова выпили. Я начал соображать, что у меня нет такой подготовки к алкоголю, как у моих спонсоров, но радость и надежда повредили моей бдительности, и вскоре я почувствовал зыбкость существования. Я оглядывался по сторонам, помня, что я священник, что проходят люди вдоль забора стройплощадки, что они меня узнают и многие приостанавливаются, складывают руки для благословения и просят их на расстоянии благословить. Я, изо всех сил сохраняя равновесие, крещу пространство и кланяюсь. Вдруг на территорию стройки направилась молодая женщина с коляской, идя прямо на меня... Макенский сделал несколько шагов ей навстречу.

— У вас есть деньги на питание ребенка? — спросил он смутившуюся женщину, которая пожалала плечами.

Макенский достал бумажник из кармана пиджака, извлек из него пяти тысячную купюру и протянул женщине.

— Возьмите, это на питание вашему ребенку.

— Ну зачем вы, — робко ответила женщина и посмотрела на меня.

Я показал ей знаками, чтобы она не отказывалась. Она взяла, поблагодарила и, забыв, зачем шла ко мне, развернула коляску, чтобы торопливо удалиться.

— Спасибо, спасибо тебе, щедрый русский человек, — с чувством сказал я Макенскому.

— Русский народ беден, — ответил Макенский, — потому что ленив и невежествен.

Закончился коньяк. Макенский пошел к

своей машине и принёс в руках зеленый бархатный мешочек, перевязанный золотистой веревочкой.

— Это виски девятнадцатилетней выдержки, хотите попробовать?

— Всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются — тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе, — автоматом произнес я.

— Сберег, сберег, — сказал Макенский и отвернул голову пузатой бутылке.

Мы еще выпили.

Макенский начал читать стихи:

*Село, значит, наше — Радово,  
Дворов, почитай, два ста.  
Тому, кто его оглядывал,  
Приятственны наши места.*

Он читал с русским размахом и пафосом. Он любил всё русское и жалел.

*Богаты мы лесом и водью,  
Есть пастбища, есть поля.  
И по всему угодию  
Рассажены тополя.*

*Мы в важные очень не лезем,  
Но все же нам счастье дано.  
Дворы у нас крыты железом,  
У каждого сад и гумно.*

*У каждого крашены ставни,  
По праздникам — мясо и квас.  
Недаром когда-то исправник  
Любил погостить у нас<sup>1</sup>.*

— Серега, Сережка! — с чувством произнес Макенский. — Настоящий русский поэт! Любил Рассею и страдал за неё.

Потом Макенский и Пыжов стали что-то выяснять друг с другом, вспоминать прежние обиды и недоразумения. Видно было, что Макенский заискивает перед своим другом.

«Ничего не изменилось со времен нашей юности, — подумал я. — Русскому человеку нужна сила, нужна крепкая рука. Только тогда он проникается уважением к собеседнику или власти и смиряется. Не страх божий, а челове-

ческий ближе его менталитету».

— Вот сколько ты тратишь денег в месяц на свое житьё-бытьё? — заинтересованно спрашивал Макенского Пыжов.

— Десять тысяч долларов мне вполне хватает, — с гордостью отвечал Макенский. — Тренажерный зал, сауна, хорошая качественная еда, одежда от кутюр — вот, пожалуй, здоровый образ жизни уважающего себя человека.

Я подумал, слушая Макенского, что если бы он один месяц пожил на зарплату пенсионера в нашей стране в пять тысяч рублей, а десять тысяч долларов пожертвовал на храм, то я бы поставил иконостас.

— А ты сколько тратишь? — продолжал Макенский, обращаясь к Пыжову.

— Как масть пойдет, как карты сложатся, но не меньше твоего. А «подушка безопасности» у тебя есть?

— Есть, — отвечал Макенский, — я думаю о своей семье. На счетах жены и сына лежат бабки, хватит им и их внукам останется.

— Молодец, это я уважаю.

У меня зазвонил телефон. Я отошел от Макенского и Пыжова в сторону. Звонок был из Москвы от мамы джентльмена Димы, который уехал в московскую клинику.

— Отец Евгений, нет больше нашего Димы, — она неутешно плакала в трубку, — умер Дима. Помолитесь, помолитесь за упокой его души, пожалуйста.

— Помогите вам Господь и Божья Матерь, — говорил я в трубку.

Кроме рыданий ничего не было слышно, и звонок прервался.

Я повернулся к храму, перекрестился.

— Господи, прими невинную душу отрока Димитрия, а родителей его утешь, Господи.

Макенский и Пыжов продолжали горячо спорить. Водитель скучал, поглядывая на своего шефа.

— Я слежу за своим здоровьем, — говорил Макенский Пыжову, — спорт, здоровое питание, ежегодное медицинское обследование и хороший секс.

— Давайте выпьем, — предложил я, — за дружбу. Человек силён друзьями.

<sup>1</sup> Стихи С. Есенина.

— За дружбу!

— За дружбу!

И мы допили зрелый виски до дна. Я не заметил, как уехал Пыжов. Макенский вел меня к машине. Водитель усаживал его на заднее сиденье, но Макенский отстранил его, встал передо мной, достал из кармана уже известный бумажник, извлек из него все деньги, которые в нем были, и протянул их мне.

— Возьми и строй, — сказал он, — только помни: на Руси купола кроют золотом.

Он обнял меня, большой, размякший, теплый человек, и уехал. Я пошел к храму, сжимая в руке его деньги, на стройке споткнулся и упал, деньги веером рассыпались на песок. Стоя на коленях, я собирал пятитысячные червонные купюры. Утром, при счете, их оказалось триста пять тысяч.

...На другой день очень болела голова...

### Наталино горе

**Н**а сердце не было покоя, я поехал к Илюше. Он был плох.

Наталия вышла в коридор и осторожно прикрыла дверь. Илюша спал.

— Я совсем вас замучила, — говорила она плача, — но мне так страшно. Мы здесь никому не нужны. У меня уже складывается мнение, что врачи нас избегают. Четыре месяца в больнице, и никаких результатов. А вчера, представляете, лечащий врач намекнула мне, что, может быть, нам уже пора выписываться из больницы домой.

— Как он? — спросил я.

— Илюша совсем сник, я уже не могу видеть его смиренные страдания, — Наталия плакала навзрыд. — И самое ужасное, что я, мать, бессильна. Подскажите, что мне делать, как нам дальше быть?

— Бог милостив, не отчаивайся, — говорил я, но чувствовал, что нет силы в моих словах.

— Соседка из второй палаты мне говорит, — продолжала Наталия, — зачем ты зовешь священника. Оставь, дескать, все как есть, не вмешивайся. А то он, говорит, молится и только продляет мучения твоего сына.

— Ты сама-то что думаешь? — осторожно спросил я.

— А может, она права, — заключила Наталия.

Я раздумывал, не зная, что ей ответить. Потом вдруг вспомнил случай, который произошел со мной в первые годы моего священства.

— Знаешь, — прервал я молчание, — когда я был молодым священником в начале девяностых и служил в кафедральном соборе, за мной на иномарке (тогда это была большая редкость) приехал молодой мужчина. Он был сильно взволнован. Просил меня, по благословению архимандрита Петра из монастыря, перекрестить его семимесячную дочь в реанимации детской больницы. Взяв крестильный ящик, я отправился с ним.

В реанимации в лоточке под стеклянной выпуклой крышкой лежал младенец. Трубочки и провода помогали ему выживать. У него был диагноз: аневризма сосудов головного мозга. Я перекрестил девочку, как мог в таких сложных условиях, полным чином, потому что я знал, что у меня есть время. Потом ее отец привез меня обратно в собор. Через два дня он приехал просить меня причастить ее. Я почти не думал тогда, как мне это сделать. Сейчас существуют специальные маленькие чаши для детей, которые герметично закрываются для транспортировки. В те времена таких чаш не было. Я взял тигри с маленьким количеством Христовой крови, накрыл его покрывцом, уселся в кабину машины и держал в обеих руках, чтобы не расплескать. Младенчика Анну, таким именем мы её нарекли, причастили, а через день приехали ее соборовать. Я попросил пропустить в реанимацию ее мать, чтобы совершить таинство над ней и ее маленькой дочерью. Точно так же я соборовал тебя и Илюшу. Пока я молился, мать плакала, увидев свою девочку в таком состоянии. А молодая женщина-врач в очках ходила по реанимации и говорила мне, когда я разоблачался, что это все бесполезно: взрослый может выздороветь теоретически, а ребенок выздороветь не может даже и теоретически. Но я делал что должно, не обращая внимания на ее слова. Наверное, тогда, в начале своего пути, я был неискрушенный, более чистый человек. Сейчас мне даже кажется, что к тем событиям я как человек не имею никакого отношения. Я был уставшим от суеты священником, который на людей уже никак эмоционально не реагировал, а просто

почти механически совершал таинства одно за другим, одно за другим. И, видимо, в какой-то момент Бог проливал куда Он сам хотел свою благодатную животворящую энергию, и происходило чудо. Подобных событий было несколько в моей священнической жизни.

Я окончил таинство, но продолжал молиться за маленькую Анну. Помню, вскоре после этого я уехал на сессию в Московскую семинарию, сказав детям Воскресной школы поминать о здравии в своих утренних молитвах младенца Анну. Каково же было мое удивление после возвращения из Троице-Сергиевой лавры, когда я увидел Элизбара — так звали отца девочки. Он шел ко мне навстречу совершенно спокойный и даже радостный. «Как дочка?» — спросил я его. «Перевели в общую палату, она лежит с мамой», — он с чувством пожал мне руку и, вздохнув, спросил, когда ему можно прийти исповедоваться.

Я назначил ему день. Дело в том, Наташа, что его правая рука, я это давно заметил, была похожа на пяточку. Суставы кулака были смяты настолько от многочисленных ударов по спортивным снарядам или по чему-либо еще, что совершенно утратили естественный рельеф.

Исповедь была мужественная. Он много согрешал и насилием, и жестокостью.

Сейчас девочка выросла, учится в школе. Мать работает преподавателем, а отец возглавляет частное охранный предприятие, а по воскресным дням приходит в церковь. Понимаешь, Наташа?

— Я поняла, — тихо ответила она.

— Я могу ошибаться, потому что это никак нельзя доказать. И это могут быть просто слова. Но существует какая-то связь, зависимость жизни наших детей от нашей жизни, от наших поступков. Можно со слезами переживать болезнь своего ребенка, но эти переживания ничему не помогут, потому что они недействительны. Действенно только состояние самосознания, и от видения своих грехов — искреннее покаяние, — подытожил я.

— Простите меня, я дура, — сокрушенно сказала Наталия. — Вы помолитесь за нас?

— Помолюсь.

Мы договорились, что я приеду на следующий день.

Ночью Илюши не стало.

Утром заворочался на прикроватной тумбочке мой телефон. Звонила Наталия. Она сказала тихим уставшим голосом:

— Нет больше Илюши, — и отключила трубку.

Много я повидал смертей за свою священническую жизнь. Они касательно прошли через мою судьбу. Но здесь было другое. Я привязался к этой семье, приняв их как близких. Я решился на борьбу с силами зла и провалился. В этом умершем мальчике с темными, большими, взрослыми глазами было нечто такое, что повергло меня в состояние отчаяния и тоски. Я должен был признать свою беспомощность. Мне казалось, что он смотрит на меня из угла и как бы говорит: «Я надеялся на тебя, я сильно хотел жить, почему ты не смог помочь мне выздороветь?» Зияющая пустота навалилась на меня. Весь день я старался не думать об этом, но он преследовал меня, смотрел и говорил: «Зачем ты приходил ко мне, если ты не мог запретить смерти?»

К вечеру состояние мое стало невыносимым, и я решил пойти к отцу Владиславу.

### Отец Владислав

День прибавлялся, но все еще рано темнело. Часы показывали восемь тридцать вечера. В доме, где жил отец Владислав, горел свет, но окна батюшки на втором этаже были темными. Я знал, что он дома. Просто отец Владислав не любил незваных посетителей, поэтому не включал свет. Спать ложился рано, обычно в девять часов вечера. Телевизора у него не было. Единственной его страстью была классическая музыка. Он любил то, что хорошо знал. Батюшка мог бы быть выдающимся пианистом — так выделялся своими способностями в музыкальном училище, которое окончил. На четвертом курсе он виртуозно исполнял третий концерт Рахманинова, и все прочили ему блестящую карьеру. Будучи человеком талантливым, он не мог пройти мимо красоты православия, которое пленило его своими формами. Позже оказалось, что он не бездарен и религиозно. Женился рано. Став иереем божьим, забросил все светские занятия и предан служению во всей полноте.

Жена его, так называемая матушка, родив дочь, сбежала, не выдержав переводов мужа-священника из одного сельского прихода в другой. Оставив пятилетнего ребенка на руках отца, связалась с каким-то проходимцем, забеременела от него. Когда пришло время родить, он ограбил квартиру и исчез неизвестно куда. Мать, родив ребенка, отказалась от него и оставила бедного младенца в родильном доме. Так как она с отцом Владиславом была еще не разведена, батюшке пришлось пройти через унижительную процедуру отказа от ребенка.

Церковь он любил. Любил богослужение, но многое в жизни церкви огорчало его. Он был разочарован не в ее глубинных, благодатных и истинных формах, а в тех отношениях, которые у нее сложились с людьми. Непонимание красоты православия современным человеком глубоко оскорбляло его. Это касалось прежде всего отношения интеллигенции, да и народа к церкви. Единственным сокровенным утешением для него оставалась музыка, которую он некогда отверг как «праздное и бесполезное занятие».

Я постучал в дверь. Послышалось шарканье по полу, и глухой голос спросил:

— Кто там?

— Это я, батюшка.

— Сейчас.

Он так же пошаркал. Потом с минуту было тихо. Наконец дверь отворилась.

— Христос воскрес! — с подчеркнутой радостью, но тихо сказал я.

— Воистину воскрес! — ответил отец Владислав. Мы протянули друг другу руки и прикоснулись щетинистыми щеками. — Проходите, проходите, — он пропускал меня в темноту коридора. — Никого не ждал в такой поздний час.

— Простите меня, что без предупреждения, — оправдывался я, продвигаясь по коридору, — но телефон ваш не отвечает.

— Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросил он, на ходу завязывая поясok подрысника.

— Ничего не случилось, — уклончиво ответил я, — просто зашел поговорить.

— Слава богу. Однако любопытно. Хотите чаю?

— Нет, благодарю, — отказался я, — не будем

терять времени. Я знаю, вы не любите продолжительных разговоров.

— Это правда, — сказал он, — присаживайтесь. Быстро утомляюсь. Можно вас попросить не включать свет. Беспорядок так меньше виден.

— Мне все равно, — согласился я, располагаясь на диване, с которого он сбросил на пол какие-то вещи.

— Слушаю Владимира Горовица и потом засыпаю. Гениальный пианист. Как великолепно он исполняет Рахманинова! Он достиг абсолютной свободы. Владеет одинаково музыкой и инструментом. И я все время думаю об одном и том же, об одном и том же: чтобы владеть музыкой, ее надо понимать. Вопрос краеугольный — о понимании. Если музыкант не понимает произведение композитора, он не может его транслировать людям. Если он его не понимает, он не владеет им. Оно властвует над ним и делает из него неумеху. Это все равно что читать незнакомый текст, не улавливая смыслов. Помните, когда мы учились читать Апостол?

— Да, хорошо помню.

— Вот. Если предварительно не разберешь смыслы, текста нет. Размыт или мертв. Так и в музыке. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — оживился я, — и очень даже хорошо. И я мог бы вам сказать о понимании в более широком смысле слова.

— Это интересно.

— Вы очень метко через отношение к музыке выразили мысль. И я убежден, что существует миф непонимания, который поддерживается многими ограниченными людьми в России. Он состоит в том, что Россия — непостижимая страна. Что у неё существует некая predeterminedность судьбы, что Россия не понятна не только западному человеку с его рацио, но и для самого русского народа она является загадкой. Я думаю... Не знаю, согласитесь вы с этим утверждением или нет, но этот миф о непостижимости России питает, поддерживает наш внутренний хаос.

— Внутренний хаос, — повторил отец Владислав, не вдаваясь в смысл сказанного. Он находился в своих недавних впечатлениях от Горовица. — И я его очень хорошо понимаю, когда он закрылся на двенадцать лет и не выходил не только к публике, но даже из собственного до-

ма. Ходили слухи, что Горовиц сошел с ума. Два года он не спускался со второго этажа своего американского дома, сидел как под арестом. Я думаю, что это была проблема непонимания. Публика не понимала того, что он хотел сказать ей через музыку, и он очень от этого страдал. Да, еще, я думаю, он усугубил свой кризис тем, что укорял себя за невозможность играть так, чтобы его услышали и поняли. Но так, как он исполнял музыку в двадцатом столетии, как понимал ее, владел всеми ее формами, никто, никто больше не мог понимать.

Отец Владислав посмотрел на меня.

— Этим он близок мне, думаю, что и вам. Трудно донести живое слово, чтобы оно попало на благодатную почву и пустило корни. Но я, кажется, перебил вас. Да, простите, — спохватился батюшка, — жена, жена спасала его, не отлучаясь, все эти двенадцать лет. А я, прости Господи за ропот, сижу один в своей берлоге, и вот вас принесло.

Я невольно улыбнулся.

— Да, а когда он решил все-таки выйти к людям в Карнеги-холл, назвав это «первой репетицией», публика неистовствовала. Стояли и день, и ночь, чтобы получить входной билет. Он шел в сопровождении жены сквозь толпу. Кто-то крикнул: «Горовиц, я ждал вас двенадцать часов!» Его жена остановилась, повернула голову в сторону кричавшего и сказала: «Я ждала его двенадцать лет!» Какие бывают жены! Но, простите, вы какую-то глубокую мысль мне сказали про хаос, про русский хаос, который нас сдавливает со всех сторон.

— Со всех сторон и каждого русского человека внутри, — прибавил я, — и это более всего ужасно. При видимых успехах в нашем православии царит тотальный инфантилизм. Я говорю о жизни церковного народа. Кому-то он, видимо, выгоден, этот инфантилизм. Когда, когда русский человек преодолеет свое несовершеннолетие, которое есть неспособность пользоваться собственным рассудком без помощи кого-либо другого?

— Всегда инфантилизм народа, — заметил отец Владислав, — выгоден в России тоталитарным структурам.

— Вы правы, конечно. Но меня больше беспокоит не социальный аспект, а личностный. Ме-

ня поражает в русском человеке непонимание.

— Непонимание чего? — спросил отец Владислав, вслушиваясь, наконец, в мои рассуждения.

— Непонимание России, непонимание своей веры христианской, своей Церкви, самих себя. Русские не понимают самих себя. Это, по-моему, восьмой смертный грех. Грех неведения. Грех, который уничтожит не только христианскую цивилизацию, но он реально убивал и убивает земного человека. Я только говорю о первой смерти, а не о второй — смерти души для вечной жизни. И если это грех, то надо учиться понимать. Но нет! Я повторяю и настаиваю, что русскими псевдопатриотами культивируется миф, фантом о предопределении русской судьбы. «Умом Россию не понять!» — восклицают они во все времена, не понимая, что в словах этих выразилось отчаяние поэта, а не убежденность — как будто что бы ни происходило, Бог спасет Россию.

— Вы знаете, я думал об этом, — отец Владислав посмотрел на меня. — Не смейте смеяться, я думал, думал.

— Нет, что вы, откуда вы взяли, что я смеюсь? — темнота в комнате сгушалась. Предметы приобретали тяжеловесные формы.

— Я думал и думаю, что Россия — это детство человечества. Как это ни странно звучит в двадцатом веке!

— Детство человечества? — повторил я удивившую меня мысль.

— Ну помните, нас учили, рассказывая о греческой культуре, её мифологии, особом восприятии мира и так далее, что греческая культура, по мнению ученых, была детством всего человечества. По аналогии с этим можно сказать, что Россия является в современном мире детством человечества. Что я имею в виду? Если западная жизнь управляется законами, то в России закон что дышло, куда повернул, то и вышло. То есть жизнь Европы и Америки управляется внешними требованиями закона. В России это не работает. Русская жизнь управляется внутренними законами, продолжающими жить органично в сознании, или, как теперь говорят, в ментальности русского человека. Он совестлив, он стыдлив, он готов прийти на помощь совершенно бескорыстно. Если хотите, он жертвен. Ему понятна жизнь святых людей.

Она ему нравится, он восхищается ею и к ней стремится. Западный мир не понимает и не приемлет понятие святости. Он даже не знает, что это такое. Я иногда прихожу к мысли о том, что это даже хорошо, что наши люди воспринимают церковь как некую неразгаданную тайну. Нечто надмирное, небесное, значительное, святое. Пусть они не понимают, как не понимают жизнь дети. Но при этом они веруют в чудесное. Когда дети вырастают, приобретают жизненный опыт, они перестают веровать. Они теряют это свойство. Результат? Все возвышенные понятия уничтожены. Задумайтесь! Наша с вами вера стоит на догматах, то есть она укоренена в тайне. Догмат непостижим. Его можно измерить или явить верой и только верой. Они в тайну вглядываются, но не изучают ее. Им интересно пока только то, что можно руками потрогать. А если бы они вглядывались пристально, глубоко, они бы поняли, что наша церковь защищена от всякой логики, от всякого силлогизма неописанной тайной, как защищена сама жизнь, потому что жизнь и есть тайна. Пусть лучше они не понимают и остаются детьми, верящими не в Истину, которую мы с вами проповедуем с амвона, а в личность Христа, живого, не засушенного рационализмом.

— Вы себе противоречите, — перебил я отца Владислава. — Если вернуться к началу нашего разговора, Горовиц...

— Такие люди, как Горовиц, — возвысил голос отец Владислав, останавливая меня, — это посвященные люди. Что вы, батюшка?! Поэты, художники, музыканты, вам ли этого не знать? Вы окончили Литературный институт. Они несут людям красоту, облеченную в образы. Они свидетельствуют миру о той Божественной гармонии, которую он утратил. Горовиц говорил, что концерт — это не лекция. Человек должен получать радость от исполнителя.

Он помолчал.

— Устали? — спросил я его.

— Когда я только пришел на приход, — продолжал он, по обыкновению не услышав меня, — я начал с лекций. По воскресным вечерам приглашал прихожан в храм. Мы расставляли скамейки, рассаживались, и я им что-то рассказывал. Чаще всего это была теория. Однажды, после одной из таких встреч, ко мне подошла

Екатерина, постоянная прихожанка и участница. Сейчас я что-то ее давно не вижу, может быть, уже умерла: была она уже почтенного возраста. Говорит мне:

— Батюшка, вы нам всё говорите такие слова, которые нам непонятны. Вы расскажите что-нибудь из Патерика. Вот я читала в одной книжке про рабу божью. И начинает мне пересказывать прочитанное: «Она засветло приходила в храм и зажигала лампы к службе перед каждой иконой и на каждом подсвечнике. Однажды ранним осенним утром пришла, как обычно, на свое послушание. Погода была сырая, промозглая. Зажигая лампы у икон святого алтаря, она подняла голову кверху и увидела, как будто в первый раз, над иконостасом большое распятие. Остановилась, пораженная, и стала вглядываться. Слезы потекли у нее по щекам. Достала платок и решила ждать настоятеля. Как только он переступил порог храма, она подошла под благословение и сказала ему:

«Отец настоятель, у меня к вам прошение». «Что ты хочешь просить?» — обратился к ней настоятель. «Сегодня утром было темно и холодно, когда я пришла в храм зажигать лампы, и я увидела, что наш Спаситель там, наверху, — она указала рукой на иконостас, — совсем раздет. Нельзя ли Его чем-то теплым обернуть, чтобы Он не мерз?»

— Понимаете? — обратился ко мне отец Владислав, — за двадцать лет служения я не встречал ни одной особи мужского пола, которая бы так соперничала Христу, жалела бы Его. А вот русских женщин таких я видел. Они Спасителя жалеют и плачут о Нем. Вот что такое наша национальная вера в самых глубинах русской души. Помните, — спохватился отец Владислав, — да вы лучше меня знаете с литературным-то образованием, когда Достоевского спросили, за кем он пойдет, за Истиной или за Христом, Достоевский выбрал Христа. Русскому человеку нужен живой Бог, а не теории. Да я среди доморощенных русских философов, а у нас таких полно, не встречал сострадания к Христу, — закончил отец Владислав, — но встрепенулся и продолжил: — Помните, еще приведу вам литературный пример: у Гоголя в «Ревизоре» городничий обличает судью. «Вы, — говорит, — в церковь не ходите, в Бога не веруете, а как начнете

рассуждать о сотворении мира, просто волосы дыбом становятся». Как-то так, я могу ошибаться по тексту. Что же ему отвечает судья? А он отвечает серьезным тоном: «Да ведь сам собою дошел, своим умом». Вот как сказано про русского мужика — на все века. Сидит, смотрит из своего угла, думает что-то. У Крамского, по моему, есть картина «Созерцатель», кажется, так называется. Мужик в кафтане, в лаптях стоит один в зимнем лесу на дороге. Стоит, задумался. О нем Достоевский тоже рассуждает в «Братьях Карамазовых». Он, говорит, не думает, он созерцает. Нет, подождите, — заторопился отец Владислав, — я вам сейчас это место найду, третьего дня просматривал и наткнулся. Это надо точно воспроизвести.

Батюшка вышел в коридор, подметая пол подрысником и гулко топая босыми пятками. Вспыхнул свет, полосой легший от двери до ковра, захватив часть шкафа, над которым темнели иконы. С полминуты было тихо, потом снова заходили половицы под ногами отца Владислава. Он встал, облокотившись о дверной косяк. Монументальная тень его накрыла ковер.

— Я вам прочту отсюда, послушайте. Надо близко к тексту передать: «У живописца Крамского, — но это я вам все сказал, вот отсюда: — ...Изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то, наверное, ничего бы не припомнил, но зато, наверно, застал бы в себе впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверно, их копит, неприметно и даже не сознавая, для чего, и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спастись, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно». — Каково?! — Отец метнулся, сделал два гулких шага в сторону, щелкнул по стене, и

свет погас. Он шумно вошел в комнату. Остановился у окна. Темный силуэт его фигуры вытянулся и замер. Он неподвижно смотрел в окно. — Живет точно во сне. И продолжает спать русский человек. Прошли трагические времена и испытания, революции и войны с миллионными жертвами, и перестройки, и демократии, а он все спит, — отец Владислав повернулся и посмотрел на меня, — и, знаете, он видит сны.

Батюшка замолчал.

— Какие сны? — спросил я просто так, чтобы вывести отца Владислава из задумчивого состояния. Мне было любопытно, чем он закончит.

— Это сновидения ада, вот какие сны он видит, — попыток батюшка и как-то отвлеченно добавил, возвращаясь к действительности. — Я, конечно, сегодня не усну.

— Простите, простите меня, ради Христа, что я поздно пришел к вам.

— Ничего, дослушайте, — он уселся в глубину кресла. — Не далее как вчера прихожу я в свой храм. Одна из моих помощниц говорит мне: «Вас человек спрашивал, а я сказала, что вас нет, будете завтра. Он ответил, что завтра придёт». Вот он и пришел, этот человек. Возраста лет сорока или около того, худощавый, с землистым цветом лица. Одет в старомодную одежду, брюки расклешённые, мешковатый пиджак, вид замкнутый, задумчивый.

«Вы ко мне?» — спрашиваю я его. — «Да, я к вам, батюшка, хотел поговорить с вами». — «Ну идите сюда».

Подхожу к аналою, приглашаю стать рядом, лицом к алтарю. Подходит, в руке что-то аккуратно завернуто в газетку.

«Слушаю вас».

«Я несколько дней назад освобожден из мест лишения», — спокойно начал он.

Мне стали понятны его хуоба, замкнутость и некоторая стесненность в движениях, это ощущение четырех давящих стен камеры.

«Я отсидел двадцать лет за убийство трех человек, — спокойно продолжал он, — и вот, пока я сидел, все эти годы думал прийти к священнику и рассказать об этом преступлении».

«Вы пришли, чтобы раскаяться, облегчить душу?» — спрашиваю я его, а сам уже намереваюсь идти за епитрахилью и требником для таинства исповеди.

«Можно так сказать, — слегка замялся он. — Конечно, я лишил жизни людей, как бы не имея на это право, потому что я эту жизнь людям не давал. Но я не испытываю раскаяния, а даже, наоборот, чувствую удовлетворение, что ли. Что-то вроде исполненного долга».

— Честно говоря, — посмотрел на меня блестящими глазами отец Владислав, — я готов был обличить его в бесчувствии, в непонимании глубины греха. Но вместе с этим он как-то располагал к себе, был даже симпатичен, как будто он служил какой-то идее и был последователен в её осуществлении.

«Вы были на войне?» — спросил я его.

«Нет, я не воевал».

«Да где же вы могли лишиться жизни сразу нескольких человек?» — воскликнул я.

«Я вам расскажу».

И он спокойно начал свой рассказ.

«Мы жили с мамой, вдвоем. Село наше небольшое, но зажиточное. Все занимаются земледелием и возят на Москву. Друг друга все знают, кто чем живет, кто чем дышит, кто к кому ходит. Я только что окончил десять классов. Сдал экзамены на аттестат, были планы поехать в город, поступить в институт. После экзаменов и вручения аттестатов, как это было принято, последний звонок, выпускной, ночные гулянья. Не хотелось мне идти на выпускной, но мама настаивала, иди, мол, такого события больше не будет, останется память на всю оставшуюся жизнь. Я согласился и пошел. Было тошно на этом выпускном. Все пили потихоньку по углам, чтобы учителя не видели, потом пошли к реке.

Я всегда был нелюдимым. Отошел в сторону и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Я знал, что мама уже спит, а дверь она не запирает, чтобы я беспрепятственно вошел в дом. Когда я тихо открыл дверь и переступил порог, то сразу почувствовал какую-то страшную тишину. Она лежала на полу в комнате на темном неровном пятне. Она была изнасилована и убита ножом. На ее груди следователи насчитали одиннадцать ножевых ран. Как выяснилось потом, ночью к нам приходили три местных урода за деньгами на водку. Она им отказала, и они, уже пьяные, пришли позже, надругались над ней и убили.

Началось расследование. Один из преступни-

ков был сыном местного бизнесмена. Их арестовали, а через два месяца выпустили. Дело до суда так и не довели, сказали, что недостаточно улики. Они гуляли по улицам, развлекались, а моя мама лежала в земле.

Я начал за ними следить. Это стало моей навязчивой идеей. Я должен был им отомстить. Узнал, что они каждую неделю посещают баню на краю села, в усадьбе этого самого бизнесмена. Пьют, развлекаются, играют в бильярд, чаще в те дни, когда папаша уезжает за товаром. Баня была деревянной, с одним окном, стояла возле леса. И вот, наконец, все сошлось. В октябре, десятого числа, стемнело рано. Сынок затапливал баню, готовил. Часам к семи с пузырями пришли его дружки. Мне из леса все было хорошо видно.

Около девяти я подкрался к глухой бревенчатой стене. Облил заготовленный бензином оба угла. Прошел незамеченным под маленьким оконцем к двери. Дверь открывалась внутрь, ручка была железная, кованая; я забил в нее черенок от лопаты. Облил бензином левый угол постройки и саму дверь. Все зажег, а сам встал у окошка с вилами и ждал их. Занялось сразу со всех сторон. Слышу, забегали крысы, заорали, один, хозяин, показался в окне. Деревянным ведром ударил в стекло, осколки полетели на меня. Я увернулся и начал колотить вилами в окно и кричать: «Это вам, сволочи, за маму мою убитую! Это вам суд божий, горите в геенне огненной!» Они лезли, прощения просили, а я все бил и бил в окно заточенными, как иглы, вилами. Не выпустил ни одного.

Набежали люди. Кто посмелее, из мужиков, подступали ко мне, но и их я не подпускал, отмахивался вилами. Да не особенно-то они хотели, понимали, что за подонки оказались в ловушке.

Крики прекратились, и я понял, что это конец. Бросил вилы, сел на землю. Меня связали и отвели в сельсовет, потом приехала милиция, надели на меня наручники и отвезли в город. Я во всем сознался, состоялся суд, потом тюрьма. Вот так, батюшка», — закончил он.

— А потом говорит, помолчав, — продолжал отец Владислав: — «Не буду искушать вас вопросами, батюшка. Сам все понимаю. Убийца я, но раскаяния я не чувствую в себе. Случись такое снова,

точно так же поступил бы. И знаете, что меня спасало от отчаяния все эти двадцать унылых лет? Книжонка одна. Да вот же она!» Он начал разворачивать газетку, а сам продолжал говорить: «Один конвойный мне ее в зону принес. Он был человек образованный, учился в институте на учителя истории, но учителем не стал, попал работать в зону. Грамотный был человек, книжки читал, мы с ним иногда разговаривали. Когда он узнал, что я вырос без отца и как моя мать погибла, предложил взять книгу: «Почитай, найдешь утешение, а может быть, и оправдание». Книгу он развернул и положил на аналой. Я читаю название и не верю своим глазам.

— Евангелие? — нетерпеливо спрашиваю я отца Владислава.

— Не угадали. На книге было написано: «Вл. Соловьев. Сочинения».

— Владимир Сергеевич Соловьев?

— Он самый, серия «Философское наследие», год издания 1988, часть вторая, с великолепным портретом автора.

— «Тут есть статечка, — продолжал мой собеседник, — «Три разговора» называется. Я прочел ее не знаю сколько раз. Особенно первый разговор про зло в мире и как с ним бороться. Сильное впечатление на меня произвел рассказ генерала. Очень сильное. Я тогда все понял и успокоился».

— Какой случай, представляете себе?

— Что же вы ему сказали? Уж не похвалили ли вы его за его поступок?

— Нет, не похвалил и не осудил. Я давно никого не сужу. Русская жизнь — сплошной апокалипсис. Я созерцал. Это был истинно русский тип.

— Но вы его наставили на путь?

— Да он и не нуждался в моих наставлениях. Ему нужно было выговориться. Он этого торжественного момента ждал много лет.

— А дальше что было?

— Ничего. Он поблагодарил и ушел.

— Ушел?

— Ушел.

— Вы бы ему Евангелие вручили.

— Оно у него уже тысячу лет, и что изменилось за это время? — отец Владислав посмотрел на меня. — Он и в Евангелии себе найдет оправдание в благоразумном разбойнике, а все остальное пропустит.

Было видно, что отец Владислав устал, но ему тоже, видимо, надо было выговориться.

— Я сегодня говорил монолог и не дал вам слова вставить. Как вы успели заметить, наболело.

— Знаете, не буду вам рассказывать о том, зачем пришел, — я приподнялся, чтобы уходить, — будет причина вновь прийти к вам, дорогой батюшка.

— Заинтриговали вы меня, — он тоже приподнялся с кресла и пошел впереди меня в темный коридор, словно показывая дорогу. — Но не буду настаивать, а то мне совсем не уснуть сегодня, хорошего-то вы ничего не расскажете.

Мы тепло пожали друг другу руки, прикоснулись щеками, я вышел в освещенный подъезд, зажмурившись от яркого света лампочки. Дверной замок шелкнул, и я побежал вниз по лестнице.

## Свет разума

Дорогой мой мальчик! Когда-то у просветителей был такой девиз: «Имей мужество пользоваться своим разумом».

Задача разума состоит в том, чтобы понимать, куда тебе идти. В книге немецкого философа Гегеля «Феноменология духа» можно найти отличное замечание. Он говорит, что разум есть достоверность сознания. Твоя задача — научиться осознавать себя. Когда человек не осознает себя, он живет как бы во сне. Несовершенство — это и есть неспособность пользоваться своим рассудком без помощи кого-либо другого. Выбор надо сделать определенно. Надо эти вещи понять, уяснить, чтобы быть свободным человеком. Либо мы, всё общество и каждый отдельный человек, сделаем ум и разум частью своего бытия, своей жизни, либо мы все выпадем в некую маргинальную структуру.

К сожалению, надо признать, что механизм современной культуры отказался от самосознания, несмотря на усилия великих писателей девятнадцатого и начала двадцатого века, да и лучших писателей советского периода.

Важная вещь — понимание. Все кажется в мире, особенно молодым людям, непостижимым. Но для того и дан человеку разум, чтобы понимать, постигать. Эта непостижимость оказыва-

ется удивительной! Потому что, дорогой мальчик, все божье творение есть текст, мир есть текст. Страна, жизнь, картина, книга, ты сам и так далее — все есть текст, и его надо читать. Вдумываться в него, вникать в него и понимать. Найди и почитай стихотворение Пушкина «Воспоминание». В нем есть строчка: «И с отвращением читая жизнь мою...» Пушкин читает жизнь и судит ее, потому что он понимает ее.

Нужно общими усилиями всех разумных людей перенаправить механизм культуры, научить ее, понимать, демифологизировать ее, десакрализировать ее. (Пишу сознательно эти сложные слова, верю, что понимаешь или поймешь их.) Были времена, к счастью, ты не жил в Советском Союзе, когда понимание казалось грехом. Бытие людей, которые желали понимать, было трагично. Реальность зиждилась на понимании бесчеловечного мифа, который отрицал разум.

Разум — это свет, это Истина Христова. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Этот свет лучшие люди России передали нам, вам, следующим поколениям людей, которые могут принять и дальше его передать. От всех нас и от наших усилий зависит простая вещь: утверждать понимание России как национальную добродетель. Вот задача, которая стоит перед священником, писателем, художником, студентом, интеллигентом, всем образованным народом, — чтобы эта добродетель стала подлинным фактом культуры, способным к дальнейшей ретрансляции.

Оглядываясь назад, на историю России, можно сказать, что мы несём в себе «культуру взрыва», как написал в 1924 году один из замечательных русских поэтов. Вот в чем настоящая беда. Взрыв стихии 1917 года, который все ждали. Народный взрыв. Он должен был снести всё! Все достижения европейской цивилизации. Кто-то боялся этого, а кто-то приветствовал, задавая вопрос: «Способна ли эта стихия, эта народная плазма самой природы, к созидательной деятельности?»

Эта невероятная по жестокости сила, вспышка, подобная извержению проснувшегося вулкана, в 1917 году потрясла всех. Это было время, когда дети истребляли родителей, родители детей, брат убивал брата, казнили носителей веры — был ужас кровавый, непереда-

ваемый. Когда спохватились, как-то это надо было остановить, этот беспощадный разгул народной стихии, то поняли, что этот бунт можно остановить только одним путем, еще большей жестокостью. То, что как раз и проделали большевики. Потому что они сначала разбудили это, на этой волне поднялись наверх, но потом им стало понятно, что этой стихией управлять невозможно, как невозможно управлять селевым потоком, сорвавшимся с гор. Вот тогда и возник красный террор, который поначалу был обращён на интеллигенцию, потом повернулся против всего народа. Все тогдашние реформы, которые проводили в жизнь большевики, были жестоки, чудовищны.

Один из кадетов писал в воспоминаниях, как у него случился диалог в лагере, в котором он сидел, с одним мужиком-солдатом.

— Русскому народу такое правительство нужно, другое с ним не справится.

Обрати внимание, мой дорогой мальчик, на то, почему сейчас вспоминают и хвалят Иосифа Сталина. Дескать, только Сталин справится, Сталина не хватает!

Дальше мужик-солдат говорит:

— Вы думаете, народ вас уважает? Он над вами смеётся, а большевика уважает.

— Почему? — спросил кадет-либерал.

— Потому что большевик его каждую минуту застрелить может.

Вот формула приведения стихии в порядок. Вот чем, оказывается, некий порядок обеспечивается. Не в условиях христианской свободы, а в условиях некоего звериного, свирепого диктата.

Крещение России — это первый толчок, который ввел Россию в ореол христианских стран. И дальше могло быть нормальное развитие. Но взрывы, нашествие степи, татары-монголы — потоп, поглотивший только что складывающуюся русскую культуру. Революции, войны и так далее. Все это взрывы. Но сейчас, мой дорогой мальчик, у России есть уникальная возможность показать всему миру спасительный путь. Наша стихия, наша плазма, наш народ продолжает сохранять в глубинах народной природы черты христианских начал жизни. Он все ещё несет в себе этот живой свет, исходящий от раскаленной лавы, только потому, что

остаётся частью самой природы, как река, как деревья, как земля. Европа давно утратила эту глубинную связь с корнями, оторвалась от нее, предавшись цивилизации комфорта. Россия через образование, через знание и понимание своего назначения должна стать великой демократической страной, которая бы гармонично сочетала в себе два закона: закон юридический, государственный и Закон Божий, закон христианский. Не нужно сейчас бояться западного силлогизма и рационализма, которые, как все думают, могут уничтожить веру, как это случилось с самим западным миром. Надо найти равновесие в двух началах, в двух законах и осуществить гармонию, реализовать её. Гармонию закона совести и юридического закона. Но если всмотреться внимательно, то второй закон в своих высших целях зиждется все-таки на первом, законе совести.

Надо вспомнить возвышенную идею, которая двигала людьми при создании империи Древнего Рима, Византийской империи, Европы Карла Великого и нашего великого Петра Первого. Империя, под покровом которой свободно живут все народы в едином христианском братстве. Россия через знание и понимание может показать миру единственный спасительный путь.

Однако, мой мальчик, надо не упустить из виду, что христианство не почвенная религия в России, а пришлая. И не только для России, но и для цивилизованной Европы. Она исторически оказалась не почвенной и самому израильскому народу, в лоне которого возникла. Это не удивительно, потому что это религия откровения, религия, спустившаяся с небес, и не почвенная для всех народов земли. Поэтому в определенные этапы истории могут вставать древние боги язычества. И тогда происходит то, что происходило много раз в истории человечества. «Взрывы» в двадцатом столетии — это столкновения язычества с христианством. Это реакция язычества на христианство. Германский нацизм и национализм в двадцатом веке — это был отзвук, возвращение, рецидив азиатского, языческого деспотизма. Древние боги проснулись. Они могут проступать, проявляться, мой дорогой мальчик, и в личности каждого человека, об этом надо всегда помнить.

У великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева есть глубокое стихотворение. Приведу тебе его полностью.

*О чем ты воешь, ветр ночной?  
О чем так сетуешь безумно?..  
Что значит странный голос твой,  
То глухо жалобный, то шумно?  
Понятным сердцу языком  
Твердишь о непонятной муке —  
И роешь, и взрываешь в нем  
Порой неистовые звуки!..*

*О! Страшных песен сих не пой  
Про древний хаос, про родимый!  
Как жадно мир души ночной  
Внимает повести любимой!  
Из смертной рвётся он грудь,  
Он с беспредельным жаждет слиться!..  
О! Бурь заснувших не буди —  
Под ними хаос шевелится!..*

Оно написано в начале тридцатых годов позапрошлого века.

Тютчев понимал жизнь России и анализировал её и жизнь собственную.

Он понял, что в каждом человеке и в целых народах живет этот первородный языческий хаос, не изжитый христианской цивилизацией, во тьме которого прячутся демоны. Береги себя от него, мой дорогой мальчик.

### Похороны Илюши

**Я**вошел в неосвященный храм. В стороне у южного входа стояли несколько человек. На лавочке перед аналоем, на котором лежала праздничная икона, покоился маленький гробик. Наталия в одиночестве находилась подле него.

Всё в храме: колонны, иконы, аналои, люди, да и сам храм — всё казалось нелепо большим. Они громоздко окружали этот маленький гробик. Он был так мал, что его можно было взять в руки и унести.

Еще большая нелепость заключалась в том, что был нарушен естественный ход вещей, установленный Богом. Только что начавшаяся жизнь по

непостижимым человеческому уму причинам остановилась и отлетела, оставив недвижимое, маленькое, измученное болезнью тельце.

Я подошел к Наталии. Она осунулась лицом, была бледна.

— Прими мое искреннее сочувствие и прости меня, Наталия.

— Вы ни в чем не виноваты, — слабым голосом сказала она. — Спасибо вам, что вы поддерживали нас все это время.

Я вошел в алтарь, облачился и вышел северной дверью. Храм был почти пуст. Люди, человек шесть, приблизились к Наталии.

«Это могла быть большая жизнь, окруженная другими любящими жизнями, которые стояли бы и молились за любимого дедушку, отца, брата, друга, провожая их в последний путь к Творцу, — подумал я. — А эта маленькая жизнь не успела связать себя с другими жизнями узами любви и дружбы».

В тишине храма от гулко звучащих шагов священника сквозило сиротливое одиночество и оставленность.

— Откройте Илюшу, — сказал я.

Крышку суетливо сняли и положили на скамейку. Мать заголосила. Муж подошел и обнял ее.

Я возгласил:

— Благословен Бог наш! — начался чин погребения младенческого.

Казалось, что мальчик спит. Его маленькое личико было чистым и гладким. Оно выражало тот покой, к которому стремятся святые подвижники. Покой, овеянный присутствием Бога, принявшего невинную душу. Но чтобы это видеть, нужно иметь другое зрение — зрение глубокой веры.

Я вышел на воздух из нижнего храма, почувствовав головокружение, земля качнулась у меня под ногами, потемнело в глазах. Я присел на лавочку у входа. Через пять минут поднялся, опять почувствовал удар в голову, но решил дойти до автомобиля и ехать домой. За рулем машины было спокойнее. Я почти доехал до дома, когда ощутил движение в груди и как бы задохнулся — в этот момент сердце мое заколотилось. Я съехал на обочину, заглушил двигатель и позвонил сыну.

— Кажется, мне плохо, тахикардия, — сказал я. — Ты не мог бы меня встретить и отвезти в скорую?

— Где ты? — взволнованно спросил Иван.

Я объяснил ему, и через десять минут он был рядом. С ним прибежала и Вера. У нее в руках оказалась бутылка с водой, розовый стаканчик и лекарства.

— Надо сейчас же выпить, — торопливо говорила она, побледневшая и взволнованная, — вот «Аспирин Кардио». Он разжижает кровь, сейчас это важно. А у вас нет боли в груди? — спрашивала она и смотрела обеспокоенными глазами на меня. — Такой сильной боли вот здесь?

— Нет, Вера, боли такой нет, просто быстро бьётся сердце.

Ваня сел за руль, Вера уселась сзади, и сын повез нас в ближайшее отделение скорой помощи. Он гнал с недопустимой скоростью, совершая невероятные маневры на дороге, что я поминутно одергивал его:

— Мне нельзя волноваться, а ты так несёшься, — останавливал его я. — Мне станет еще хуже, и никакая скорая уже не понадобится.

Но он не слышал. Страх, что он может не успеть вовремя за помощью к врачам, подгонял его.

То ли от волнения на дороге, то ли оттого что подействовали таблетка и капли, приступ отступил.

— Ваня, — попросил я, — поворачивай домой, мне лучше.

Не раздеваясь, я улегся в постель и проспал несколько часов кряду. А ночью, в половине второго, приступ повторился, и пришлось вызывать неотложку.

## Больница

Скорую помощь ждали минут сорок. Иван не ложился, сидел на кровати и смотрел на меня тревожными глазами. Я крепился, не подавая вида, что мне совсем плохо.

— Иди, зажги лампаду у Богородицы, — попросил я Ивана, — помолись.

— Тебе больно? Где больно, в груди?

— Мне не больно, сердце спешит куда-то. Но ты не волнуйся, — сказал я слабым голосом.

Он подскочил и побежал в кабинет.

Сердце колотилось во всем теле. Приподняться на ноги не было никакой возможности. Тело было расслабленным и тяжелым. Темнело в глазах, кружилась голова. Я не мог дойти до ванной комнаты. В бессилии, закрывая глаза, я уповал на Бога, творя молитвы. Время в этот предутренний час, казалось, остановилось. Гудела труба, по которой бежала вода, слышались шаги в квартире над нами, резкий звук упавшего и покотившегося по полу предмета. Снова стало тихо. Не слышно было в соседней комнате Ивана. Он, видимо, молился за меня.

Показалось, что в открытую дверь из коридора вошла Наташа, неся на руках Илюшу. Они прошли к окну и остановились. Наташа что-то показывала мальчику там, за окном. Он вглядывался, прислушиваясь к ласковым интонациям голоса матери, и правой бледной ручкой теребил ее волосы. Я боялся, что они повернутся и увидят меня. Сердце мое билось еще быстрее, я натягивал простыню на голову, чтобы укрыться от них.

— Папа, — взволнованно позвал меня Иван, — как ты себя чувствуешь? — он снимал с моей головы простыню.

— Нормально, — отвечал я и, приподнимая голову, смотрел в сторону окна. Там никого не было.

Ваня то подходил к окну и вглядывался в пустынную улицу, ожидая, что ее осветят фары движущейся машины, то возвращался ко мне, брал в руку мое запястье, чувствовал под пальцами бьющуюся вену и вновь, взволнованный, бежал к окну.

— Где же они есть? — тихо и сокрушенно произносил он.

— Я хочу тебя попросить, — обратился я к нему.

— О чем, папа?

— Я порадовался вчера, что ты общаешься с Верой. Я этого очень желал, — он внимательно смотрел мне в глаза.

— Пап, прекрати, ты говоришь таким тоном, как будто завещание пишешь. Все будет нормально.

— Ваня, выслушай меня, говорю тебе отцовскую волю и священническое благословение.

— Я взял его руку. Она была большой, настоящей мужской рукой. — Все может произойти в этот волчий час, когда отдыхает Господь. Но знай, мне ничего не страшно. Я так часто смотрел в глаза смерти, что привык к ней как к временному затруднению, с которым сталкиваются разные по возрасту люди. На свете есть два дела, которым может посвятить себя мужчина — это профессия врача и служение священника. Оба дела душеспасительные как для людей, так и для самого человека, посвятившего себя этим деятельности. Идеально, когда обе деятельности сочетаются в одном человеке. Такие случаи были и есть. Ваня, выбери наконец свой путь, не теряй время, дни суетны и лукавы. Береги маму, заботься о ней. Не теряй Веру, она настоящая. В наше время это большая редкость. Если встанешь на путь священства, она будет хорошей матушкой и матерью твоих детей. Пообещай мне.

— Пап, хорошо, хорошо, я постараюсь. Относительно Веры одного твоего благословения недостаточно, есть еще желание самой Веры. — Он побежал к окну.

Наконец улица осветилась фарами поворачивающей к нам машины, и он рванулся в подъезд, шумно сбегая по лестнице. Через минуту слышались голоса и топот ног, подъезд ожил. Я перекрестился и вздохнул.

— Благодарю тебя, Матерь Божья.

Первым вошел худой и высокий человек с двумя чемоданчиками. Он был молод, белобрыс, длинная шея его и короткие синие рукава бросались в глаза. Следом вошла доктор, женщина средних лет в белом халате, поверх которого была надета стеганая серая телогрейка. Она выглядела уставшей и отстраненной.

— Что случилось? — спросила она и добавила, обращаясь к Ивану, — принесите два стула и немного теплой воды.

Иван бросился на кухню.

— Сорвался ритм, — тихо сказал я.

— Миша, давай будем снимать кардиограмму и набери девять кубиков панангина, приготовь катетер.

— Понял, — ответил медбрат. Он поставил чемодан на принесенный Иваном стул, открыл верхнюю крышку, и рукава его поднялись по самые локти.

— Непереносимость к каким-нибудь препаратам у вас есть? — спросила доктор.

— Нет.

— Давайте я вас послушаю.

Ваня стоял в дверях и наблюдал за происходящим. Глаза наши встретились, и я ободряюще подмигнул ему. Он улыбнулся в ответ, но не смог пересилить эмоцию напряженного переживания, и улыбка получилась вымученной. И я подумал, какой он у меня глубокий и добрый мальчик.

Медбрат смачивал мою грудь мокрой холодной салфеткой и устанавливал присоски с проводами. Загудел аппарат, и начала выкатываться из него пленка, расчерченная длинными вертикальными зигзагами. Она все бежала и бежала до тех пор, пока доктор не схватила ее и привычным резким движением рванула, намотав на ладонь.

Потом Миша ставил катетер, через который вливали панангин. Молча ждали, но приступ тахикардии не снимался.

— Вы можете дойти самостоятельно до машины? — спросила меня врач.

— Попытаюсь, — я приподнялся на локти, спустил ноги с кровати и сел. — Ваня, — попросил я, — возьми стул и иди за мной, может быть, мне нужно будет присесть.

— Давай, пап, я поддержу тебя.

Одной рукой он держал меня под руку, другой нес стул.

Дважды пришлось садиться. Темнело в глазах, обмякшее тело тянуло вниз, я готов был потерять сознание. В машине меня уложили на холодные жесткие носилки, поставили в катетер капельницу. Ваня стоял на улице и с волнением смотрел на происходящее. Я сделал ему знак рукой, чтобы он шел в дом, и дверь скорой с шумом задвинулась. Машина поехала, переваливаясь с бока на бок по неровной дороге. Поплыли темные окна спящего дома, тусклые фонари на столбах. В кабине водителя хрипела рация.

Так прервалась моя деятельность, замерла моя жизнь. Никогда я не был настолько беспомощен и одинок. Я находился среди чужих мне людей, механически выполнявших свою рутинную работу за скромное жалованье.

«Волчий час, время сгустившейся предрасветной тьмы. Все люди спят, отдыхая перед не-

известностью предстоящего дня. Но есть другой день, — подумал я, — внутри человека, в котором никогда не бывает тьмы».

Окно скорой то темнело, то освещалось пробегающим светом. Он скользил внутри машины, облизывая боковую дверь, мои руки и синие штаны медбрата, сидящего с закрытыми глазами, и я не мог определить, где мы едем и скоро ли появятся светящиеся окна и желтая обшарпанная стена знакомой мне с детства больницы.

Наконец машина, заскрипев тормозами, остановилась. Распахнулась дверь. Послышались голоса людей. Меня выдвинули из автомобиля вместе с носилками. Молодой крепкий парень лет тридцати пяти, крупноголовый и простоволосый, и женщина средних лет в утягивающем ее полноту халате закатали носилки в коридор больницы и помогли перебраться на стационарную коляску. Потом вызвали доктора, заполняли карточку, и тот самый парень, который, видимо, выполнял во время дежурства больницы тяжелую работу, отвез меня к лифту, громыхнул дверями и поднял в блок интенсивной терапии кардиологического отделения.

Капали в вену кордарон. Я чувствовал сильную усталость, как будто мне пришлось бежать многокилометровую дистанцию. Хотелось спать, но тревога не покидала меня, стояла капельница, я боялся шевелиться и думал, кто освободит мою руку, когда кончится лекарство, потому что рядом из медперсонала никого не было. Скоро стало понятно, что никто не придет. Справа слышалось частое, прерывистое дыхание. Из соседнего бокса раздавался густой храп. Я беспрестанно повторял слова молитв и думал о том, как может быть одинок и беспомощен человек. И даже Бог кажется таким далеким, когда нет сил рвануться к Нему, чтобы попросить о помощи. Я уснул. Мне снился приезд в наш храм владыки, обычные хлопоты при его встрече, а я, почему-то не обремененный, стою в углу и боюсь, что входящий в храм владыка, всех широко благословляющий и поздравляющий с праздником, увидит меня. Уже громогласно возгласил протодиакон: «Премудрость. Честнейшую Херувим...» Хор подхватил со сладкопением: «Достойно есть...»

Иподиаконы надели на владыку мантию, владыка делает одно поклонение и уже принимает крест, и вдруг служба останавливается одним взмахом руки архиерея.

— А где же ваш настоятель? — спрашивает он в мертвой тишине храма.

Все: и священники, и миряне — поворачивают головы в угол, где стою я. Мое сердце готово выскочить, я задыхаюсь. Владыка манит меня к себе, берет за руку теплой, мягкой отеческой рукой и благословляет идти в алтарь.

Я проснулся. Медсестра будила меня прикосновением к моей правой ладони. Она молча снимала капельницу, которая давно закончилась.

Весь день в больнице приступ то останавливался, то возникал вновь. Я старался не шевелиться и почти не дышать. Любое движение тела провоцировало приступ. Меня подключили к монитору, капали какие-то растворы, ничего не помогало стабилизировать ситуацию. После четырех часов врачи ушли по домам, оставив меня с молодым дежурным доктором. Положение было угрожающим.

Крадучись, вошел в палату Иван в халате. С ним — встревоженная Вера.

— Пап, как ты? — спросил Иван. — Приступ сняли?

— С переменным успехом, — ответил я.

Он смотрел на меня, на монитор, и лицо его менялось.

— Я сейчас, пап. Вера, побудь с отцом.

Через минуту он вошел с молодым доктором.

— Ну да, — раздумывая, приговаривал доктор, — вы старайтесь не волноваться, — обращался он ко мне. — Вам это сейчас ой как не надо. Я скажу, чтобы еще поставили кордарон.

Доктор ушел. Ваня не сводил взгляд с монитора, который стоял на тумбочке за моей спиной. По его испуганным глазам можно было прочитать, что пульс был за двести ударов в минуту. Он торопливо вышел вслед за доктором. Вера, казалось, онемела. Она стояла в ужасе, наблюдая за происходящим. Я тогда не знал, как моя болезнь повлияет на судьбу этой удивительной, чистой девочки.

Глаза её наполнялись слезами, она, застигнутая врасплох, не могла сдвинуться с места.

— Красив человек, глубоко сострадающий

другому человеку, — подумал я, наблюдая за Верой, и улыбнулся ей, — пожалуй, это самое правдивое состояние его души.

Вбежал доктор, за ним встревоженный Иван. Вера вдруг громко вскрикнула и выбежала за дверь.

Через полчаса Вера робко заглянула в палату и уставилась в монитор. Глаза ее были красными от слез. Она увидела, что пульс восстановился, вошла и сказала:

— Слава богу, вам лучше, теперь всем будет хорошо.

Иван смотрел то на меня, то на заплаканную Веру, и его повзрослевшее лицо выражало тихую радость от того, что мы вместе перед бедой.

Они успокоились. Рассказывали всякие глупости, пытались шутить. Но монитор притягивал их тревожные взгляды.

Вскоре медсестра, исполняя приказание доктора, попросила их уйти.

— Папа, держись, — сказал Иван, — завтра я приеду.

— Не бойтесь, дорогой батюшка, — прощаясь, сказала Вера тихим голосом, — приступа не будет, Господь посреди нас, — она коснулась моей руки, — поправляйтесь.

Они ушли. Я уснул и проспал до самого утра.

## Выбор Веры

Состояние стабилизировалось. Приступов стахикардии больше не возникало. А потом начались мои мытарства. Ведущий меня врач написал в выписке направление в областную больницу и далее — в Москву, на обследование и операцию. Подготовили все анализы, включая коронарографию. Дело осталось за квотой на операцию. Господь не оставил меня, квоту выделили, и я засобиравшись в дорогу.

Тоскливо было на душе, я переживал за храм. В больницу приходил меня проводить Тихон Антонович с бригадой. Одеты все были нарядно, в рубашках и пиджаках, трудно было узнать в этих людях моих строителей. Тихон свистел в медальон на шее:

— Ты, отец Евгений, подлечись, работа не волк, в лес не уйдет. А мы храм не бросим, —

Тихон повернулся к своим подчиненным: — Не бросим, ребята?

— Нет, не бросим, — поддержали Тихона и Славка, и Сергей Шустов, и крановщик Виктор Васильевич.

— Слышишь, — обратился ко мне Тихон, — лечись в Москве столько, сколько надо. Приедешь, храм не узнаешь, будет стоять как пасхальное яичко.

От слов Тихона стало спокойнее. Но дело было даже не в словах, а в его отеческой заботе, исходившей из глубины его доброй души. Слова были для того только, чтобы скрыть за шутками это внутреннее движение сердца, чуткого, сострадательного.

Они оставили пакет с фруктами и как-то застенчиво удалились.

Приходила инокиня Неонила, маленькая, исхудавшая от поста дева, стояла в углу палаты, ждала, когда медсестра поставит капельницу. Уста её улыбались кроткой, застенчивой улыбкой, а темные глаза светились внутренней благостной радостью.

— Возьмите, батюшка, во здравие души и тела, — сказала она и протянула мне богородичную просфору, — и вот эти записи, сделанные мной сегодня, в них есть новость, — загадочно прибавила она, — и благословите.

На руке стояла капельница. Я только произнес с чувством:

— Бог благословит.

Она не задержалась ни на минуту, поклонилась низко и ушла.

Я открыл её записи и прочел следующее:

«Дорогой батюшка! Спешу сообщить вам радостную новость (это слово было подчеркнуто), если только этим словом можно назвать происходящее.

Вчера очень поздно легла. Утром проснулась рано — не могу спать. Думаю — надо молиться. Прочитала часть правила и села читать жизнеописание архимандрита Кирилла. Прочитала и молюсь: «Батюшка, батюшка, отец Кирилл, помоги отцу Евгению сегодня, а мне бы поскорее вернуться к матушке!» Стала читать акафист преподобному Серафиму и сразу же в черновом варианте в 6 утра записала следующее:

«Дорогой батюшка! С великой радостью спешу вам сообщить, что сейчас вам дано короткое (то-

же подчеркнуто) время на то, чтобы вы сделали свои заметки и все свои писательские намерения хотя бы в набросках. Вам дается очень короткое время, потому что потом его у вас совсем не будет. Вам нужно будет предстоять перед Престолом Божиим и молиться за погибающий мир.

В том числе вам нужно успеть составить набросок к полному жизнеописанию схиигумены Дорофеи. Лучше вас этого никто не сделает. Я постараюсь в ближайшие дни кое-что написать вам из того, что знаю (самое малое) о матушке. Я вам советовала съездить в Киев, помолиться там о здравии, и хорошо было бы вам при поездке туда инкогнито посетить Ржищев. В Киево-Печерской лавре есть две гостиницы.

Посмотрите Преображенский храм в сестринском корпусе. Матушка собственноручно делала рисунки на иконостасе. Икона Живоносного Источника Божией Матери (про нее матушка говорила, что в ней заложена великая глубина, духовная сила и мощь)».

Это я записала утром. А теперь о ваших делах. Напишу иносказательно, по-монашески.

Когда матушка первый раз сняла с меня облачение, это было большим потрясением. Пришла в келью, помысел говорит: не буду ничего кушать от великой скорби. Я начала размышлять: откуда этот помысел? Думаю, ладно, пока делаю так, а потом видно будет.

На следующий день сестры матушке сказали, что я ничего не могу есть. Во время трапезы матушка начала говорить на эту тему. Рассказывала, как их воспитывали в Воронежском монастыре. Затем на секунду остановилась, как бы размышляя или молясь (ведь, конечно, она меня жалела очень), и говорит:

— Инокиня Неонила, если ты не будешь кушать, то я с тебя и подрясник сниму. Будешь ходить в короткой цветной юбке!

Сестры пришли в ужас, а я внутри чуть не рассмеялась. Думаю: ну и матушка, вместо того чтобы меня пожалеть и простить, придумала выход из положения. Конечно, мне пришлось кушать, и сестры облегченно вздохнули. Видно, тогда не пришло еще время меня простить. Немного позже матушка меня простила (но до этого я несколько раз подходила к ней и просила прощения за свое поведение и гордость), тогда я почувствовала великий мир внутри и такой

дух кротости и смирения, что не передать словами. Конечно, через какое-то время опять все растеряла, искала потом у Господа и просила, но такого духа кротости, смирения, мира, умиления и покаяния больше очень долго не чувствовала и не могла найти. Было сильное внутреннее потрясение от действий матушки, и молитва лилась к небу чистым потоком». В скобках была приписка:

«(Наверное, когда-нибудь вы напишете обо мне книгу и назовете её «Есфирь». Поместите в неё всё, что вам когда-нибудь писала, и все ваши записки ко мне. Только пусть это будет после моей смерти.)

Молитвы и благословение архимандрита Кирилла и схиигуменьи Дорофеи да будут над всеми нами.

Батюшка, простите за дерзость. Недостойная инокиня Неонила».

Так закончила матушка свое письмо.

— Матушка, матушка, — задумался я, — теперь мне нужно разгадывать твои «иносказательные» монашеские наставления. Пусть почитает Вера, может быть, она мне объяснит. Вот из нее получилась бы настоящая монахиня.

Эта мысль как-то сама собой высказалась в уме и напугала меня.

Владыка своим указом прислал в помощники молодого священника. Благовоспитанного человека, доброго и внимательного. Он был высок ростом, полноват. Выяснилось, что несколько лет назад отец Сергей, так звали этого двадцатидесятилетнего священника, увидел меня в школе. Я тогда ходил с лекциями (помню, меня хватило на двадцать три школы) и рассказывал детям о целомудрии. Их собирали в актовом зале, входил священник, который пытался на их, подростковом, языке говорить им о важных и глубоких предметах. На одной из таких лекций был четырнадцатилетний мальчик Сережа, который был так вдохновлен рассказом священника, что по окончании беседы бежал за ним по лестнице.

— Я не знаю, для чего я бежал за вами, — рассказывал мне отец Сергей при первой нашей встрече в храме. — Я не думал у вас что-либо спрашивать, а просто для чего-то преследовал вас на расстоянии до самого выхода из школы.

Душа моя успокоилась, и я засобирился в Москву.

— Ваня, ты не мог бы пригласить Веру к нам домой? — осторожно попросил я. — Мне нужно передать ей работу и кое-что объяснить.

Я постарался задать свой вопрос спокойным, равнодушным тоном.

Иван был внимателен ко мне. Никуда не торопился, все дни находился рядом и трогательно заботился обо мне.

— Папа, Вера не отвечает на звонки, — сказал Иван и вышел в другую комнату.

— Может быть, ты пойдешь к ней домой и пригласишь ее к нам?

Иван появился в дверях. Взгляд его был взволнованным, лицо казалось бледным.

— Пап, она же видит, что я ей звоню, — Иван потрясал телефоном, — и не отвечает, понимаешь?

— Может быть, отключен телефон, плохая связь, — успокаивал я его, — могут быть и другие причины.

— Нет тут никаких причин, кроме той, что она не хочет со мной разговаривать.

— И давно это происходит? — обеспокоенно спросил я сына.

— Уже несколько дней, — Иван подсел ко мне, — сначала были гудки длинные, а два дня в трубке отвечает компьютер, что абонент недоступен.

— Надо сходить к Вере домой, — я обнял Ивана за плечи.

— Если она не хочет со мной говорить, она не захочет и видеть меня, — Иван облокотился о свои колени и свесил голову.

— Ты копаешься в своем самолюбии, а вдруг с Верой что-нибудь случилось? — твердо сказал я.

— Ты прав, — Иван приподнялся, — пойду.

Он вышел на улицу. Я стал думать о Вере, и беспокойство овладело мной. Я решил ехать в храм, чтобы перед отъездом сделать некоторые распоряжения по работе строителям. К престольному празднику Архангела Михаила двадцать первого ноября планировалась первая служба в верхнем храме с приездом владыки. Все должно быть подготовлено. Но в глубине своей души я надеялся встретиться с Верой.

Стоял ясный солнечный день. Рабочие во главе с Тихоном сидели под навесом и ели. Увидев меня, радостно поднялись навстречу.

— Ангела за трапезой, — громко произнес я, — сидите, я с вами почаёвничаю.

Все уселись на прежние места и уставились на меня.

— Вижу, — обратился я к ним, — продвинулись хорошо. Через четыре месяца приезд владыки, надо постараться к престольному празднику войти в верхний храм и отслужить в нем первую службу. Что скажете?

— Куполов нет, — отметил Тихон Антонович.

— Купола придут из Вологодска через месяц, — ответил я.

— Неужели? — удивился Тихон.

— Это факт.

Все загалдели.

— Что же вы нас в известность не поставили?

— Пока лежал в больнице, друзья из большого бизнеса решили сложиться на купола и заказали на заводе Вологодска.

— Это же не подсвечник купить, — вставил Славка, — это же огромные деньги!

— Да, деньги большие, — подтвердил я, — два с половиной миллиона.

Все ахнули.

— Но и друзья большие, — с гордостью проронил я, — один из них — директор завода «Гидромаш» Пещеров Александр Николаевич, другой — вице-президент Александровского банка Москвы Макенский Борис Николаевич, третий — Погорелов Петр Евгеньевич, генеральный директор двух центральных московских телеканалов, и Пыжов Сергей Иванович, свободный бизнесмен.

— Не имей сто рублей, как говорится, — вставил Виктор Васильевич.

— Как людям не жалко отдавать такие деньги? — удивился Шустов.

— Они не отдают, Сергей, — ответил я, — они вкладывают. Бог в долгу не бывает. Времена меняются, сейчас человек богат, а завтра может разориться.

Тихон Антонович переменял тему разговора.

— Когда едешь на операцию?

— Завтра, Тихон Антонович, — ответил я и добавил, — прошу ваших молитв.

— Да какие мы молитвенники, — бросил Тихон, — мы люди работающие.

— Я вам расскажу историю, — предложил я. — Один интеллигент подошел к реке и попросил перевозчика на лодке доставить его на другой берег. Вошел в лодку, сел, положил на колени портфель. Перевозчик опустил весла и отчалил от берега. Очкарик смотрит, на веслах написано: на одном — молись, на другом — трудись.

— «Трудись» — это я понимаю, — вслух сказал интеллигент, — а «молись» зачем? Пустое времяпрепровождение!

Доплыли как раз до середины реки.

Перевозчик молча положил весло, на котором было написано «молись», вдоль лодки и стал грести одним веслом. Лодка вперед не пошла, а закружилась на месте.

— Я понял, понял, — ответил интеллигент перевозчику.

— Да, мудрено, — сказал Тихон, — жаль, что нас этому не учили с самого детства, а теперь уже поздно начинать.

— Никогда не поздно, — твердо сказал я.

— И то правда, — подтвердил Тихон, все поддакнули.

— Поезжай, лечись, а мы будем делать то, что хорошо знаем.

Мы пожали руки, и я, глядя по сторонам, направился к машине. Ко мне бежала работница храма с пакетом в руках.

— Батюшка, для вас оставили.

— Кто? — удивился я, но мне уже сердце подсказывало, что этот пакет от Веры.

Я сел в машину и рассмотрел его. Коричневая оберточная бумага была перевязана прозрачным скотчем по углам и крест-накрест. Наверху было написано синей ручкой: «Отцу Евгению лично в руки».

Распечатать его сразу не получилось. Я отъехал подальше от храма, остановился и раскрыл пакет.

Это было письмо от Веры.

«Бог милостив, отец Евгений, это я теперь знаю. Когда вам было плохо в больнице, я молилась за вас и просила Господа только об одном: чтобы вы стали здоровы, чтобы угроза, нависшая над вами, исчезла. В тот момент воспоминание о смерти моего отца буквально нависло надо мной и придавило с пугающей силой.

Когда Ваня побежал за доктором, я стояла словно застывшая от холода статуя. Меня как будто парализовало. Я смотрела на зеленый монитор за вашей спиной, по которому змейкой ползла светящаяся линия, рисуя странные кривые линии, и не могла пошевелиться. В углу экрана мигали цифры, которые менялись, казалось, каждую секунду от 180 до 230 — это было биение вашего сердца. Я испугалась, что нас оставили одних. И когда доктор забежал в палату, а за ним влетел Ваня, я словно ожила. Выбежав из палаты, встала у двери. Сердце колотилось в груди. В следующую минуту вышел доктор, взглянул на меня и пробежал в ординаторскую. Лицо его было сильно встревожено. Я испугалась и пошла за ним, чтобы просить его незамедлительно помочь вам, но услышала разговор по телефону сквозь приоткрытую дверь ординаторской.

— Из отделения интенсивной терапии спустить в реанимацию, так, — повторял молодой доктор. — Общий наркоз, остановка сердца и дефибриляция, понятно, — подтвердил кому-то доктор.

Сердце мое сжалось от услышанного разговора. Я не понимала значение слов, а поняла лишь, что будет остановка сердца.

Я побежала по коридору на лестничную клетку, встала на колени и плача стала молиться, чтобы вас не везли в реанимацию, чтобы не было остановки сердца, при этом пообещав Богу, что если вам станет лучше, я уйду в монастырь.

Сколько продолжалась молитва, я не знаю, мне казалось, что долго. Когда я приоткрыла дверь палаты, то увидела спокойное лицо вашего сына и, взглянув на монитор, поняла — все в порядке.

Я не могу не исполнить своего обета. Нет грусти, что я решила на этот шаг, и нет разочарования в том, что была застигнута Богом в такую минуту. Но для вас я смогла бы сделать все, даже, пожалуй, умереть. Что я и делаю сейчас, умираю для мира, чтобы быть живой для Бога и... для вас. Простите, я плохая, потому что полюбила вас, зная, что вы никогда не будете со мной. Что я не буду смотреть на прекрасный мир вашими глазами, слушать ваши сложные и глубокие рассуждения, понимать, что вы знаете ответы на все вопросы. Я опоздала на целый век

со своим рождением, но я буду ждать вас в ином, более счастливом мире.

Но знайте, любить вас — это настоящее счастье! Я узнала любовь, пережила её всем сердцем, и за это я благодарна Богу и вам, дорогой, любимый человек. Я принесу свою любовь к Богу как оправдание моей дерзости, пусть Он меня простит. Благодарю вас за сдержанность и благородство. Невоплощенное чувство печалит душу, но зато оно защищено от возможности быть разрушенным. Пусть оно принадлежит вечности, как планета, еще не открытая людям.

Не ищите меня и не печальтесь. Когда Господь даст мне силы благодати, укрепит мою волю, сделает меня твердой как камень, — тогда я напишу вам.

Мама разрешила мне поехать на неопределенное время в монастырь и пожить в нем. Всех переживаний я ей сказать не могу, но, думаю, со временем она меня от себя отпустит.

Я помню, что вам предстоит еще одно испытание в Москве. Не волнуйтесь, теперь ничего не случится, ведь я вас люблю, а значит, вы никогда не умрете.

Когда вам будет особенно тяжело и грустно, вспомните, что где-то на этой земле есть одна убогая послушница, которая день и ночь возносит свои молитвы о вас перед Господом.

Всегда ваша Вера».

Я положил письмо на колени и перевел дух, волнение овладело мной. Я вдруг почувствовал одиночество и тоску по счастливой, но не осуществленной жизни.

— Какой ты удивительный человек, Вера, — в раздумье произнес я. — Печально мне, но печаль моя светла. Божья милость сказала над нами, что все так закончилось. Но сможешь ли ты понести это бремя любви, хватит ли тебе верности обетам, которые ты собираешься сделать? А если хватит, то будешь святым человеком.

В следующую секунду я подумал об Иване, его отношении к этой прекрасной девушке, о своих планах на их общую судьбу и глубоко вздохнул:

— Вера, Вера, — повторил я, — зачем ты от нас уехала?..

Я вспомнил один недавний разговор с Верой. Мы спорили о людях в церкви, молящихся, просящих Бога, но не получающих просимого.

— Бог же их должен слышать, — горячо нас-

таивала она. — Я только это хочу сказать. Они же все молятся!

— Бог не разделился и не умалился, Вера, Он все тот же, — убеждал я ее. — Только трудность состоит в том, что они, люди, изменились. Господь дает обильно благодати, как и во все времена, но они не могут её вместить. Поэтому и чудо невозможно, ибо оно невозможно без участия человека; не хватает его глубины, его высоты, его выхода до уровня взаимодействия с Богом! Не возникает чуда оттого, что человек мелок. Если бы он мог вместить Бога, не было бы столько горя и страданий.

— Она поехала готовить почву сердца, — вслух сказал я и завел машину, — но куда она поехала, в какой монастырь?

Мне показалось, что если бы я знал, где она находится, то сейчас бы отправился за ней.

### **Иван**

**Я** открыл дверь нашей квартиры и вошёл. Иван был уже дома и ждал меня. Он стоял в коридоре, облокотившись плечом о стену.

— Она уехала в монастырь, — он смотрел мне в глаза не мигая. — Это ты её на это благословил? — вопрос прозвучал угрожающе.

— Нет, я не благословлял Веру в монастырь, — спокойно ответил я, — для меня это тоже новость.

— Но ведь человек не может вот так уйти, он должен получить благословение духовника, родителей, крестных, кого там еще — не знаю, иметь вескую причину, — кипятился Иван.

— В общем, ты прав, так должно быть, — успокаивал я его, — но бывают, видимо, душевные порывы.

— Она и тебе ничего не сказала? — лицо Ивана вытянулось от удивления.

— В том-то и беда, — вздохнул я и прошел в комнату. — Садись, поговорим.

Иван сел в кресло напротив меня. Беспокойство не оставляло его.

Я не мог ему сказать о письме, о причине ухода Веры из мира, но что-то надо было говорить. Я смотрел на него и думал, как он изменился за последние недели. Моя болезнь и общение с Верой благотворно подействовали на него. И

сейчас надо было сказать что-то важное, глубокое, может быть, судьбоносное для него.

— Знаешь, Ваня, — осторожно начал я, — Вера уехала в монастырь, и это в очередной раз убеждает меня в том, что она глубокий, серьезный человек. Но, чтобы остаться в монастыре и принять сначала постриг в иночество, потом обеты монашества, положено пройти курс послушничества под руководством опытного наставника. Этот срок в среднем определяется тремя-пятью годами. За это время, я знаю множество примеров, послушник может передумать, поняв, что этот путь не для него, и вернуться в мир.

— Вера не из таких, которые сворачивают, — раскрасневшись, вставил Иван.

— Откуда ты её знаешь? — с тайной радостью спросил я его. — Ты общался с ней без году неделя.

— Знаю, я все понял про неё!

— Давай не будем забегать вперед, — остановил я его, — есть еще Божья воля и Божий промысел. Но я не это хочу сказать. — Я встал и, идя в кабинет, продолжал, возвысив голос. — Я хочу тебе объяснить тот мир, в который Вера отправилась, не своими словами, а словами книги, которую я всё последнее время читаю. Вот она, — я показал Ивану книгу, которую взял со стола, — послушай, коротко прочту тебе основное:

«...Когда великий Апостол языков говорит: «Какая польза без любви, даже в такой вере, которая двигала бы горы?» — он не утверждает возможность такой веры без любви, но, предполагая ее, объявляет бесполезной. Не духом мудрости мирской, спорящей о словах, должно быть читано Святое Писание, но духом мудрости Божией и простоты духовной. Апостол определяет веру, говорит: «Она есть невидимых обличение и утверждение уповаемых» (не только ожидаемых или будущих); если же уповаем, то желаем; если же желаем, то любим; ибо нельзя желать того, чего не любишь. Или бесы имеют такое упование? Посему вера одна, и когда спрашиваем: может ли истинная вера спасать, кроме дел? — то делаем вопрос неразумный, или, лучше сказать, ничего не спрашиваем; ибо вера истинная есть живая, творящая дела: она есть вера во Христа и Христос в вере.

Те, которые приняли за истинную веру мерт-

вую веру, то есть ложную, или внешнее знание, дошли в своем заблуждении до того, что из этой мертвой веры, сами того не зная, сделали восьмое таинство. Церковь имеет веру, но веру живую, ибо она же имеет и святость. Когда же один человек или даже епископ имеет непременно веру, что можем мы сказать? Имеет ли он святость? Нет, ибо он ославлен преступлением и развратом. Но вера в нем пребывает, хотя и в грешнике. Итак, вера в нём есть восьмое таинство, как и всякое таинство есть действие церкви в лице, хотя и недостойном. Через это таинство какая же вера в нем пребывает? Живая? Нет, ибо он преступник, но вера мертвая, то есть внешнее знание, доступное даже бесам...»

— Это очень интересно! — перебил меня Иван и заёрзал на кресле.

— «...И это ли будет восьмое таинство? — воодушевившись, продолжал я. — Так отступление от истины само собою наказывается...»

...Святая церковь, исповедуя, что она ожидает воскресения мертвых и окончательного суда над всем человечеством, признает, что совершение всех её членов исполнится с совершением её самой и что жизнь будущая принадлежит не духу только, но и воскрешенному телу, ибо только Бог есть совершенный бестелесный дух. Потому она отвергает гордость тех, которые проповедуют учение о бестелесности за гробом и, следовательно, презирают тело, в котором воскрес Христос. Тело это не будет телом плотским, но будет подобно телесности ангелов, как и сам Христос обещал, что мы уподобимся ангелам.

В последнем суде явится в полноте своей оправдание наше во Христе, не освящение только, но и оправдание: ибо никто не освятился и не освящается вполне, но ещё нужно и оправдание. Всё благое творит в нас Христос, в вере ли, надежде ли или любви; мы же только покоряемся Его действию, но никто вполне не покоряется. Поэтому нужно ещё и оправдание Христовыми страданиями и кровью. Кто же ещё может говорить о заслуге собственных дел или запасе заслуг и молитв? Только те, которые живут еще под законом рабства. Всё благое творит в нас Христос, мы же никогда вполне не покоримся, никто, даже святые, как сказал Сам Спаситель. Все творит благодать, и благодать

дается даром и даётся всем, дабы никто не мог роптать, но не всем равно, не по предопределению, а по предвидению, как говорит апостол. Меньший же талант дан тому, в ком Господь предвидел нерадение, дабы отвержение большого дара не послужило к большому осуждению. И мы сами не растим дарованных талантов, но они отдаются купцам, чтобы и тут не могло быть нашей заслуги, но только было несопротивление растущей благодати. Так исчезает разница между благодатью «достаточной и действующей». Всё творит благодать. Покоряешься ли ей, в тебе совершается Господь и совершает тебя; но не гордись своей покорностью, ибо и покорность твоя от благодати. Вполне же никогда не покоряемся, посему, кроме освящения, ещё просим и оправдания.

Всё совершается в совершении общего суда, и Дух Божий, то есть дух Веры, Надежды и Любви, проявится во всей своей полноте, и всякий дар достигнет полного своего совершенства: над всем же будет Любовь. Не должно, однако же, думать, что дары Божии, Вера и Надежда, погибли (ибо они нераздельны с Любовью), но одна Любовь сохраняет своё имя, а Вера, пришедшая в совершенство, будет уже полным, внутренним ведением и видением; Надежда же будет радостью, ибо мы и на земле знаем, что чем сильнее она, тем радостнее».

— Это очень просто написано для понимания, — вставил Иван, — но очень красиво, я бы сказал, стройно. А некоторые мысли ты мне уже говорил, помнишь, пап?

— Да, помню, когда мы спорили с тобой о том, кто действует в человеке, когда он совершает преступление, и кто действует, когда человек совершает жертвенный поступок.

— Да, точно, — подтвердил Иван.

— И последние несколько слов, которые вдохновляют меня во время строительства: «...Церковь называется Православной, или Восточной, или Греко-Российской. Но все эти названия — временны. Не должно обвинять церковь в гордости, когда она именуется Православной, ибо она же именуется Святою. Когда исчезнут ложные учения, излишним станет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. Когда распространится Церковь или войдет в неё полнота на-

родов, тогда исчезнут и все местные наименования, ибо не отождествляется Церковь с какою-нибудь местностью: но она называет себя Единой, Святой, Соборной и Апостольской, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность не имеет особого какого-нибудь преимущества, но только временно служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле».

Я закончил чтение и смотрел на сына, притихшего, смирившегося перед блистательными мыслями просвещенного ума.

— И я прибавлю: Церковь, явившаяся в конце истории человечества, есть великая тайна Творца! И тайна эта теперь разгадана вполне, можно с уверенностью сказать, — мир создан ради Церкви. Церковь всё — мир ничто! Вера поняла это и пошла в этот возвышенный, но трудно носимый мир аскезы, отречения от привязанностей и страстей для жизни вечной. Чем больше нельзя, тем больше человек, — как-то я уже говорил тебе это утверждение.

Иван слушал, опустив голову.

— Моё сокровенное желание состоит в том, чтобы ты вступил на этот же путь, который избрала дорогая тебе девушка.

Иван приподнял голову.

— Необязательно быть монахом, — я поспешил его успокоить. — Поступи в семинарию, окончи её, пока Вера будет проходить испытание в монастыре, и моли Господа, чтобы Он вернул тебе её.

— Я подумую, папа, над твоими словами, — не отмахиваясь, как прежде, а с серьезным видом произнёс сын.

Мы одновременно встали.

— Мне завтра в Москву, — сказал я с грустью, — пойду готовить вещи.

— Да, — воскликнул обо всем забывший Иван, — завтра ты уезжаешь. Может быть, тебе помочь собраться?

— Что мне собирать? Только подпоясаться, — пошутил я, — но есть кое-какие мелочи, связанные с направлением в институт, документами и так далее.

Иван пошел в свою комнату.

## Приезд владыки

Операция, по словам профессора Амирана Шотаевича, прошла успешно.

Я три недели лежал в научном институте и ждал сообщений от Ивана, звонившего и писавшего мне каждый день, надеялся получить хоть какую-нибудь весточку от Веры, но она молчала. До меня доходили вести о состоянии строительства и отделочных работ в храме. В день выписки и отправки в санаторий Иван прислал сообщение, что он собирается в духовную семинарию.

Восстановление после операции было долгим, силы возвращались медленно, видимо, Господь сделал остановку для меня, чтобы я обо всем успел подумать.

Я писал мои записки и думал о том, кто их будет набирать на компьютере и систематизировать.

За месяц до престольного праздника Архангела Михаила я вернулся к делам и службам. Мы готовились к приезду владыки.

Купола были установлены, они сияли золотом; Престол и Жертвенник были привезены из Почаевской лавры и освещены; велось приготовления, связанные с встречей архиерея.

Наконец этот торжественный день наступил.

Когда владыка в сопровождении иподиаконов входил в храм, а протодиакон громкогласно возглашал:

— Да святится свет твой пред человеки! — хор пел «Достойно есть», а я смотрел по сторонам на пеструю массу народа, запрудившего весь храм, то вдруг, увидев знакомые лица, содрогнулся от этого видения. Это была полнота Церкви! Её своим присутствием обеспечивал владыка, он был камнем, от которого расходились круги во все миры и захватывали их.

Я увидел за людьми, которые радостно встречали владыку и входили вслед за ним, лицо Рубина-Антония, стоявшего и смиренно смотревшего радостными глазами на владыку, священство и на весь праздник, творившийся в новой церкви. Я увидел входящих Анатолия с трехлетним младенцем на руках, а рядом с ним улыбающуюся во весь рот Светлану, за ними входил Василий Федорович под руку с Тамарой. У алтаря рядом с клиросом стояли

монахиня Тавифа, инокиня Неонила и моя мама, ласково смотрящая на меня. Я в ужасе стал озираться по сторонам, ища глазами человека, которого я не хотел бы видеть, и не хотел, чтобы его увидели владыка и все участники богослужения, — я искал Пропостина. К моей радости, его не было в храме.

Но я увидел Веру рядом с Иваном. Они, казалось, ничего не замечали вокруг, смотрели только на меня, переживая мою радость первой службы в верхнем храме, к которой мы так долго шли и долго готовились. У входа, вдалеке, стоял Рустик, не переступая порога.

Владыка поднялся на кафедре, народ, как сомкнувшиеся воды, заполнил проход от дверей к кафедре, протоиерей возгласил:

— Благослови, высокопреосвященнейший владыка!

Вдруг народ от дверей в храм стал вновь наступать, как будто приехал еще один архиерей.

Служба остановилась, и все взоры устремились к дверям храма в ожидании. Собранную красную ковровую дорожку торопливо расстелили снова, и все увидели, как на неё своими маленькими ножками вступил мальчик с темными глазами. Он был одет в строгий детский костюмчик с белой рубашкой и бабочкой под шейкой, лакированные туфельки твердо ступа-

ли по дорожке. Он шел по людскому коридору уверенной походкой прямо к кафедре. Это был Илюша. За ним, поодаль, шла его мать Наталия.

В храме царил тишина, все в ожидании притихли.

Илюша подошел к кафедре, сложил ручки для благословения и высоко, почти над головой, протянул их владыке. Тот в митре и полном облачении величественно, неторопливо повернулся к Илюше и молча перекрестил его, а потом возгласил над головами радостных прихожан:

— Благословен Бог наш! — И служба началась...

— Они все, все живы, и храм — это место, где нет смерти, где сходятся все миры, все царства: и небо, и земля, и ад, — всё соединяется в теле Христовом становящегося смысла!

Бог есть Любовь! И если я их люблю, то они находятся в Боге вместе со мной, в реальности бессмертия. Ведь Он ни зла, ни смерти не создавал, они возникли в свободном выборе человека. И тот, кто выбирает зло, выбирает смерть, находится вне Бога, вне творения, вне жизни! А кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге и принадлежит бессмертию!

□

### **Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН —**

*поэт, прозаик.*

*Окончил Литературный институт имени А.М.Горького.*

*Автор шести книг стихов, прозы и эссе:*

*«Рождественские загары», «День, ниспосланный Тобой»,*

*«Временное и вечное», «Искренно только небо»,*

*«Невидимое присутствие», «Трудности перевода».*

*Публиковался в альманахах Академии поэзии с 2010 года,*

*в международных сборниках МАПП «Зеркало жизни»*

*и «Планета поэтов».*

*Член Союза писателей России,*

*Международной ассоциации писателей и публицистов,*

*член-корреспондент Академии российской поэзии.*

*Председатель регионального отделения*

*Союза писателей России в Липецкой области.*

*Лауреат Литературной премии имени Евгения Замятина (2011).*

*Живет в Липецке.*

